

Мина Полянская

БРАК МОЙ ТАЙНЫЙ...

Марина Цветаева
в Берлине



Мина Полянская

**«БРАК МОЙ
ТАЙНЫЙ...»**

*Марина Цветаева
в Берлине*

ВЕЧЕ
Издательский центр Геликон
МОСКВА
2001

**ББК 84.4
П 54**

ISBN 5-7838-1028-2

© Полянская М., 2001

Читая книгу Мины Полянской «Брак мой тайный...»

Берлин увешан мемориальными досками. Особенно их много в моем районе Вильмерсдорф. Хотя и в других районах их, наверное, немало. По некоторым улицам идешь как по мемориальному кладбищу. Одни фамилии на досках узнаваемы, а большинство фамилий немецких писателей, художников, композиторов мне неизвестны.

Обилие досок вовсе не означает, что они почитаемы общественностью. На Курфюрстендамме доска памяти классика немецкой прозы Музиля почернела, слова с трудом можно прочитать, но я и не замечал, чтобы кто-либо останавливался и читал.

Неподалеку от меня на улице Виттельсбахштрассе на доме 5 установлена доска в память о проживании в этом доме Ремарка. Указано, что в этом доме он в 1929 году написал роман «На западном фронте без перемен», но в какой именно квартире — никто не знает.

Рядом с моим домом на Зэксишештрассе стоит современное здание, на месте которого в 20-х годах был другой дом, разрушенный войной, где в 1922 году жила семья Набоковых — доски нет.

Доска Набокову установлена на доме, где писатель жил последние годы до отъезда во Францию в 1937 году, на Несторштрассе, но и ее установили не городские власти, а хозяин ресторана-галереи, узнав, что выше этажем жил автор «Лолиты», которую он не читал, однако смотрел американский фильм.

Памятную доску Марине Цветаевой также установили не городские власти, а студенты-слависты Берлинского университета, собравшие на эту доску деньги — в складчину. О том, кстати, и облик доски свидетельствует,

также, как и у Набокова. Это не тяжелая, солидная мемориальная доска, а латунная тонкая дощечка, чуть побольше тех, которые вывешивают на дверях квартир с именами проживающих жильцов: «Профессор такой-то», «Зубной врач такой-то». На такие таблички напрашивается надпись не «жил» или «жила», а «живет» или «проживает».

Многое из того, что я прочитал в книге Мины Полянской, было для меня новым, но кое-что было мне известно. Все это, известное и неизвестное мне, объединено голосом рассказчика, обращающегося к тем, кто любит Цветаеву.

Вероятно, автор относит свою книгу к жанру литературной топографии, но я бы не побоялся определить эту книгу как литературный путеводитель — нужный и полезный жанр. Тем литературоведам, для которых жанр литературного путеводителя менее уважаем, чем другие, напоминаю, что Стендаль написал «Прогулки по Риму» и «Записки туриста» — не что иное как путеводители по местам, связанным с вершинами европейской культуры. Путеводителем является и книга Виктора Шкловского о Берлине «Зоо, Письма не о любви, или Третья Элоиза», а Набоков назвал один из своих берлинских рассказов «Путеводитель по Берлину».

Книгу Мины Полянской прочел с интересом, поскольку люблю такие «экскурсии», сопровождаемые талантливым, вдохновенным голосом рассказчика.

Я не специалист по творчеству Марины Цветаевой — обыкновенный читатель, да и то не постоянный. Но если случайно или по делу попадаю на Цветаеву, читаю с сочувствием, перекликаюсь чувствами с автором. Поэтому, не являясь специалистом, согласился написать некоторое количество слов. Можно их воспринимать как предисловие, а можно — как отзыв, который пишут посетители в книгу отзывов, а также потому, что Мина Полянская попросила меня прочитать рукопись и написать свое мнение.

Пушкин никогда не отказывал своим близким друзьям, поддерживая их и защищая от нападков, больше чем себя. Пушкин, разумеется, для меня — пример.

Что же касается самой Цветаевой, то я ее другом не был. Во-первых, по разности возрастов, а во-вторых, вряд ли смог бы, если бы пришлось. Впрочем, может, и смог бы. Нечто роднило. С дочерью Марины Цветаевой Ариадной Эфрон я был одно время прописан в домовую книгу на Тарусской даче по причине общего бесправия быть прописанным в Москве и общей бездомности.

Как-то случился у меня разговор с дочерью некоего известного советского писателя — художницей, которая еще меня рисовала. Разговор был о том, почему Цветаева во время войны в Елабуге просилась посудомойкой в писательскую столовую. Дочь писателя раздраженно заметила, что со стороны Цветаевой это был скорее всего эпатаж.

Думаю, что устраиваясь в столовую, Цветаева рассчитывала на остатки продуктов — каши и других, которые по военным меркам щедро получали известные писатели. Но ситуация действительно эпатажная: писатели разных сортов и калибров ели бы, а Марина Цветаева мыла бы за ними тарелки. Может быть, из тарелок в свой котелок остатки каши и прочие продукты складывала бы для своего сына. Эпатажная и страшная картина. Гордая женщина, королева!

Андрей Платонов, кстати, попал в тяжелую ситуацию: где-то в начале пятидесятых просился дворником в Литинститут. Тоже явный эпатаж. Писатели разных сортов и калибров заседали бы, а Андрей Платонов подметал бы двор, чтобы не запачкались писательские ноги. Вот и Мандельштам мог бы работать швейцаром в доме литераторов в его знаменитом ресторане — тоже эпатаж — подавать шубы и пальто их величествам, их

сиятельствам или просто рядовым, но вхожим и признанным сочинителям.

Чувство униженной королевской гордости, давно зревшее в Марине Цветаевой, завершилось самоубийством. Это чувство талантливо передано Миной Полянской в ее книге «Брак мой тайный».

Я с интересом последовал за автором по местам Марины Цветаевой в Берлине, а также по владевшим ею тогда мыслям и чувствам. Рекомендую это сделать и другим читателям — тем из них, кто хочет у Цветаевой научиться верить в то, что смерть есть предвестие жизни, а жизнь есть предвестие смерти, верить в то, что похороны совпадают с крестинами.

Ах, Марина, давно уже время,
Да и труд не такой уж ахти,
Твой заброшенный прах в реквиеме
Из Елабуги перенести.

Так у Пастернака, писавшего в 1943 году по горьким горячим следам трагедии Марины Цветаевой. Мина Полянская — одна из тех, кто своей книгой сопровождает пастернаковский реквием.

Лицом повернутая к Богу,
Ты тянешься к нему с земли,
Как в дни, когда тебе итога
Еще на ней не подвели.

Фридрих Горенштейн
4.12.2000.

*Памяти моей матери
Симы Хаит, урожденной Яернер*

*«Женщина, не забывающая о Генрихе Гейне
в ту минуту, когда входит ее возлюбленный,
любит только Генриха Гейне»*

*М. Цветаева.
О любви*

ЧАСТЬ I

«БЕССОННЫЕ РУССКИЕ»

Пражская площадь

*А кафе «Прагердиле» — перекресток,
на котором встречались все, — являлось неким
скромным провозвестником всех будущих
Монпарнасов эмиграции.*

*А. Эфрон.
Страницы воспоминаний*

Пражская площадь по праву считалась одной из красивейших площадей Берлина. На рубеже веков, в эпоху лидерства Германии в развитии европейской архитектуры, она была застроена великолепными зданиями, увенчанными островерхими черепичными крышами, с мансардами и башенками. Затейливые фасады сочетали в себе элементы классицизма и готики, но победа стекла и металла над камнем, чугунные ажурные балконы и решетки, рельефные украшения из литого и кованого железа и витражи на ризалитах свидетельствовали о наступлении нового, двадцатого века.

На фотографии 1913 года площадь выглядит одновременно уютно и торжественно. Днем она немногочисленна. Лишь несколько прохожих рассматривают театральную афишу, в ожидании неторопливого трамвая, который движется вдоль округлого сквера.

Очень скоро этот размеренно безмятежный ритм Европы накануне Мировой войны и Российской революции безвозвратно уйдет в прошлое. Изменится и облик Пражской площади.

В двадцатых годах ей суждено было стать своего рода символом нового времени, знаком переломной эпохи в жизни многих эмигрантов из России. Здесь и на прилегающих к ней улицах возник целый город «на смене веков», именовавший себя «русским Берлином». Эмигранты селились в пансионах, сидели в облюбованных ими кафе «по чужим местам», как говорил Андрей Белый, — «ничьи — с утра до вечера и даже ночью, потому что в Берлине ночи нет»¹. О бессонных берлинских ночах Ходасевич писал:

Дневные помыслы, дневные души-прочь!
Дневные помыслы перешагнули в ночь.
Опустошенные, на перекрестке тьмы,
Как ведьмы по трое тогда выходим мы.

Особую роль в среде эмигрантов приобрело кафе «Прагердиле» на Пражской площади 1а, которое стало своеобразным центром русской литературной и издательской жизни. «Берлин. «Pragerdiele» на Pragerplatz-e, — вспоминала Марина Цветаева. — Столик Эренбурга, обрастающий знакомыми и незнакомыми. Оживление издателей, окрыление писателей. Обмен гонорарами и рукописями. (Страх, что и то, и другое скоро падет в цене.) Сижу частью круга, окружающего».²

¹ Марина Цветаева, Собр. соч. в 7 т., М., 1994, т. 4, стр., 248. Далее тексты Цветаевой цитируются по этому изданию.

² М. Цветаева, т. 4, стр. 241.

В «Прагердиле» у Ильи Эренбурга был постоянный столик, за которым он на машинке печатал свои произведения, Андрей Белый здесь проводил время или, как он говорил, «прагердильствовал», а Владислав Ходасевич написал стихотворение «Берлинское».

...За окном кафе — осенний дождливый вечер, в неожиданном для ненастной погоды многообразии цветовых эффектов он претерпевает фантастические метаморфозы. Берлинские сумерки по ту сторону стекла обступают ярко освещенный аквариум кафе, в который с любопытством заглядывают прохожие. Эмигранты, как экзотические рыбки, взирают на чужой им мир, среди них лирический герой, он же автор. Однако в стихотворении Ходасевича кафе — мир внутренний, и Берлин — мир внешний, меняются местами. Замкнутое пространство кафе как бы вырастает и разворачивается, заключая немецкую реальность в диковинный стеклянный сосуд, по которому движутся золотые рыбки трамваев, карет и пешеходов.

А там, за толстым и огромным
Отполированным стеклом,
Как бы в аквариуме темном,
В аквариуме голубом —
Многоочитые трамваи
Плывут между подводных лип,
Как электрические стаи
Светящихся ленивых рыб.

Не удивительно, что здесь, в кафе «Прагердиле», за стеклами которого мир ненадолго становился витриной, живой декорацией, по воспоминаниям дочери Марины Цветаевой Ариадны Эфрон, «как ни в чем ни бывало «решались судьбы» мирового и отечественного искусства, а также самого отечества и всего мира»³.

II

«Я повествую о своем сиротстве...»

Люди смотрели на меня со своей колокольни, в то время как я была на своей.

*М. Цветаева.
«Флорентийские ночи»*

15 мая 1922 года на Пражской площади у одного из многочисленных пансионатов, где селились русские эмигранты, остановилась пролетка, и извозчик вынес на мостовую скромные пожитки двух пассажиров.

Из пролетки вышла молодая женщина с серебристо-пепельными коротко стриженными волосами и прямой челкой, а за нею вслед девочка лет десяти. Это были Марина Цветаева и ее дочь Ариадна, только что прибывшие из Москвы.

Марина с Алей⁴ (так в детстве называли дочь Цветаевой-Эфрон) стояли на мостовой и неуверенно смотрели на двери пансионата, не решаясь войти. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге остановился именно

³ Воспоминания о Марине Цветаевой, сост. Л. Мнухин, Л. Турчинский, М., 1992, стр. 200

тот, к кому они направлялись, — известный в литературных кругах писатель Илья Эренбург.

Он сразу же узнал Марину: страдания и лишения никак не отразились на «цветаевской» осанке и на особой одухотворенности ее лица, которое напоминало одному из современников «лицо пажа на ватиканской фреске «La Messa di Bolsena»⁵.

Они обнялись и расцеловались.

«Ну, здравствуйте, Илья Григорьевич! Вот и мы...»

«Как же вы доехали? Все в порядке? Впрочем, распросы будут потом, а теперь надо будет взять вещи»⁶.

Они поднялись на лифте, и Эренбург отвел Марину и Алю в большую темную комнату, заваленную книгами, служившую ему кабинетом. Здесь им предстояло жить некоторое время до приезда Эфрона. Наконец, после четырех суток пути, можно было отдохнуть — всю дорогу до Берлина Цветаева почти не спала. «Как ни проснешься ночью, — вспоминала А. Эфрон, — все видишь ее бессонный профиль на фоне черного окна, за которым, не отставая, катилась большая белая луна»⁷.

Перспектива жить среди чужих вещей не смущала Цветаеву — она давно привыкла к трудностям бытия и быта. После революции 1917 года она с двумя маленькими детьми оказалась брошенной в стихию хаоса тогдашней Москвы, военного коммунизма, голода и террора.

Однако сама она отдавала себе отчет в том, что стала жертвой не только эпохи, но и собственной неспособности «ни слиться с окружающим, ни вырваться из него»⁸. «... Затравленность и умученность, ведь вовсе не требуют травителей и мучителей, для них достаточно самых простых нас»⁹. Эти строки, обращенные к Андрею Белому в эссе «Пленный дух», Цветаева относила и к себе. Незадолго до эмиграции она написала стихи о роковом и вневременном одиночестве поэта:

Как нежный шут о злом своем уродстве,
Я повествую о своем сиротстве...

За князем - род, за серафимом - сонм,
За каждым - тысячи таких, как он,
Чтоб, пошатнувшись, — на живую стену
Упал и знал, что — тысячи на смену!

Солдат — полком, бес — легионом горд,
За воров — сброд, а за шутком — все горб.

Так, наконец, усталая держаться
Сознанием: перст и назначением: драться,

⁴«Аля — Ариадна Эфрон, — записала в дневнике Цветаева, — родилась 5 сентября 1912 года, в половине шестого утра, под звон колоколов.

Девочка! — Царица бала!
Или схимница — Бог весть!
— Сколько времени? — Светало.
Кто-то мне ответил: — Шесть.

Чтобы тихая в печали,
Чтобы нежная росла, —
Девочку мою встречали
Ранние колокола.

Я назвала ее Ариадной, — вопреки Сереже, который любит русские имена, папе, который любит имена простые, ... друзьям, которые находят, что это «салонно» ... Назвала от романтизма и высокомерия, которые руководят всей моей жизнью». М. Цветаева, т. 4, стр. 556, 557.

⁵ Н. Еленев, Кем была Марина Цветаева, Грани 39, 1958, стр. 141 — 147.

⁶ Воспоминания о Марине Цветаевой, стр. 195.

⁷ Воспоминания о Марине Цветаевой, стр. 194.

⁸ Виктория Швейцер, Быт и бытие Марины Цветаевой, Синтаксис 1988, стр. 289.

⁹ М. Цветаева, т. 4, стр. 265.

Под свист глупца и мещанина смех —
Одна из всех — за всех — противу всех! —

Стою и шлю, закаменев от взлету,
Сей громкий зов в небесные пустоты,

И сей-пожар в груди тому залог,
Что некий Карл тебя услышит, Рог!

Одиночество поэта, гениально прозвучавшее в стихотворении «Роландов рог», оказалось не только знаком избранности лирического героя Цветаевой, но и причиной его трагедии. «Поэт со своим даром — как горбун с горбом, — писала Нина Берберова, комментируя это стихотворение, — поэт на необитаемом острове или ушедший в катакомбы, поэт в своей башне (из слоновой кости, из кирпича, из чего хотите) поэт — на льдине в океане, все это соблазнительные образы, которые таят бесплодную и опасную своей мертвенностью романтическую сущность»¹⁰. Суждение Берберовой особенно интересно потому, что она, являясь антиподом Цветаевой в своем отношении к жизни, была личностью необычайно сильной, не позволявшей никаким обстоятельствам себя согнуть.

Образ поэта — птицы Феникс, готовой к самосожжению, глубоко чужд Берберовой. Впоследствии в автобиографическом романе «Курсив мой» она писала: «Мне хотелось писать, я искала всевозможные пути индивидуального, но я никогда не могла жертвовать минутой живой жизни ради строчки написанного, равновесием ради рукописи, бурей внутри меня — ради мелодии стихов. Для этого я слишком любила самое жизнь»¹¹.

III

«Германия — моя любовь»

*Во мне много душ.
Но главная моя душа — германская.*

*М. Цветаева.
О Германии*

В доме профессора Московского университета Ивана Владимировича Цветаева детей воспитывали как вундеркиндов. Немецкий язык стал их вторым родным языком (третьим — французский), а Германия — любимой страной детства. Любовь к Германии была привита дочерям — Марине и Асе — матерью, Марией Мейн, происходившей по отцовской линии из семьи остзейских немцев. В 1919 году Цветаева записала в своем дневнике: «От матери я унаследовала Музыку, Романтизм и Германию»¹². Мария Александровна часто рассказывала детям о Людовике Баварском, который любил жить в уединении в своих диковинных замках, любил луну и музыку Вагнера. «Жить под музыку Ваг-

¹⁰ Н. Берберова, *Курсив мой*, Автобиография, М., «Согласие», 1996, стр. 245. Цитаты из книги Берберовой «Курсив мой» далее приводятся по этому изданию.

¹¹ В поэме Цветаевой «На красном коне» героиня жертвует детством, любовью и даже сыном ради того, чтобы стать поэтом.

¹² М. Цветаева, т. 4, стр. 546.

нера, да еще под луной — вот идеал высокой жизни», — повторяла она. В эссе «Мать и музыка» Цветаева писала: «Из этой музыки, обернувшейся Лирикой, мы уже никогда не выплыли — на свет дня!»¹³

В детстве Цветаевой состоялись две поездки в Германию: одна в 1902 году, когда Марине исполнилось 10 лет, и матери требовалось лечение за границей (там они провели целых три года); вторая — «после мамы», в 1910 году. Сестры — Анастасия и Марина — в голубых платьях и соломенных шляпах впервые увидели леса Шварцвальда — заколдованные места братьев Grimm. Именно в Шварцвальде в 1902 году юная Марина безоглядно увлеклась Германией. «Пишу немецкие стихи, — отметила она в «Автобиографии». — Самая любимая книга тех времен — «Лихтенштейн» В. Гауфа»¹⁴. В 1903 — 1904 годах Марина и Анастасия учились в пансионе Лаказ в предместье Лозанны Уши. (В 1982 году на доме, где училась Цветаева на Бульваре де Гранси, была установлена мемориальная доска. Надпись на русском и французском языках сообщает: «Русская писательница Марина Цветаева жила в этом доме в 1903 — 1904 годах».)

Позднее, уже после смерти матери, они побывали в Вене, Мюнхене, Дрездене. Во Фрайбурге сестры учились в католических пансионах, где, как сообщает Анастасия Цветаева, Марина принялась за чтение немецких книг «с наслаждением жарким и поглощенным».

«Когда меня спрашивают: кто ваш любимый поэт, я захлебываюсь, потом сразу выбрасываю несколько десятков германских имен. Мне, чтобы ответить сразу, надо десять ртов, чтобы хором, одновременно. Местничество поэта в сердцах куда жестче придворного. Каждый хочет быть первым, потому что есть первый, каждый хочет быть единственным, потому что нет второго. Гейне ревнует меня к Платену, Платен к Гельдерлину, Гельдерлин к Гете, только Гете ни к кому не ревнует: Бог!»¹⁵

Германия была для Цветаевой любимой страной, наряду с древней Грецией, и она неоднократно признавалась ей в любви в стихах и прозе. Первая Мировая война лишь усилила это чувство. Теперь она тем более не может отвернуться от Германии, окруженной врагами:

Ты миру отдана на травлю,
И счета нет твоим врагам.
Ну, как же я тебя оставлю?
Ну, как же я тебя предам?

И где возьму благоразумье?
«За око-око, кровь за кровь»?
Германия, мое безумье!
Германия, моя любовь.

В эти годы шовинистического угара, когда российскую столицу стали на славянский лад именовать Петроградом, в то время, когда Игорь Северянин декламировал: «Тогда ваш нежный, ваш единственный, Я поведу вас на Берлин», Цветаева писала:

Ну как же я тебя отвергну,
Мой столь гонимый Vaterland,
Где все еще по Кенигсбергу
Проходит узколиций Кант.

Где Фауста нового лелея,
В другом забытом городке, —
Geheimrath Goethe по аллее
Проходит с веточкой в руке.

¹³ М. Цветаева, т. 5, стр. 20.

¹⁴ М. Цветаева, т. 5, стр. 7.

¹⁵ М. Цветаева, т. 4, стр. 550.

(...) Нет ни волшебней, ни премудрей
Тебя, благоуханный край,
Где чешет золотые кудри
Над вечным Рейном — Лорелей.

На вопрос о том, что повлияло на формирование ее творческой личности, Цветаева однажды ответила: «Главенствующее влияние — матери (музыка, природа, стихи, Германия, страсть к еврейству...). Слитное влияние отца и матери — спартанство. Воздух дома не буржуазный, не интеллигентский — рыцарский. Жизнь на высокий лад»¹⁶.

Если говорить о каких бы то ни было «влияниях» на Цветаеву, или же об истоках бунтующей ее фантазии и извечной тоски по недостижимому, то в первую очередь это было воспитание с самого раннего детства в традициях немецкого романтизма. «Помимо романтизма природного, — отмечал друг Цветаевой писатель Марк Слоним, — МИ принадлежала к романтизму как литературной школе»¹⁷.

Однако именно Цветаева раньше многих своих современников предугадала будущую трагедию Германии, о чем свидетельствует ее «Крысолов» (1924 год) — поэма о тоталитарном государстве со своей системой подавления личности и унификации мышления. По сути дела поэма по своему содержанию была для своего времени самым актуальным политическим произведением Цветаевой (о нем — ниже). Тридцатые годы — время, когда начали сбываться предсказания «Крысолова». А когда немецкие дивизии вступили в Прагу, Цветаева обратилась к своей Германии с болью и возмущением:

Полкарты прикарманила,
Астральная душа!
Встарь — сказками туманила.
Днесь *танками пошла*.

Пред чешскою крестьянкою —
Не отпускаешь вежд,
Прокатываясь танками
По ржи ее надежд?

Пред горестью безмерною
Сей *маленькой* страны —
Что чувствуете, Германы:
Германии сыны?

О мания! О мумия
Величия!
Сгоришь,
Германия!
Безумие,
Безумие
Творишь!

По сути дела, Цветаева пережила глубокий переворот в мыслях и чувствах и кризис веры в один из своих идеалов. Что ж, поэты, разделявшие романтические идеалы, сопровождавшиеся, как говорил Гоголь, «вечным раздором мечты с существенностью», то есть крушением иллюзий, умели расплачиваться за это. Обманутая в своей «любви до гроба», Цветаева в стихотворении из цикла «Стихи к Чехии», написанном в марте 1939 года, в отчаянии заявляет:

Отказываюсь — быть.
В бедламе нелюдей
Отказываюсь — жить.
С волками площадей...

¹⁶ М. Цветаева, т. 4, стр. 622.

¹⁷ Воспоминания о Марине Цветаевой, стр. 319.

IV

Сергей Эфрон

*Безмолвен рот его, углами вниз,
Мучительно-великолепны брови.
В его лице трагически сплелись
Две древних крови.*

М. Цветаева

Замужество Марины Цветаевой не укладывалось в рамки традиционных понятий о браке, поскольку, как она впоследствии признавалась В. В. Розанову, с которым начала переписку в 1914 году (письма к нему носили исповедальный характер), именно замужество давало ей возможность полной свободы.

С Сергеем Эфроном Цветаева познакомилась летом 1911 года в Коктебеле, когда находилась в гостях у поэта Максимилиана Волошина.

Волошин жил в коктебельском доме по восемь месяцев в году, уверовав в то, что его присутствие здесь предначертано свыше. Казалось, что природа создала в этом уголке Крыма из камня его собственное изваяние. В эссе «Живое о живом», посвященном Волошину, Цветаева писала: «Взлобье горы. Пишу и вижу: справа, ограничивая огромный коктебельский залив, скорее разлив, чем залив, — каменный профиль, уходящий в море. Максин профиль... Голова спящего великана или божества»¹⁸.

Впоследствии Волошин, согласно завещанию, был похоронен на вершине горы, ограничивающей коктебельский залив слева — напротив каменного изваяния.

В романтической атмосфере Коктебеля, где сама природа создавала в угоду литературным вкусам времени профили поэтов, Сергей Эфрон, темноволосый юноша с большими зеленовато-серыми глазами, совершенно соответствовал творческому воображению Цветаевой.

История семьи Эфрона была эффектной подсветкой того образа, который Марина создала себе на многие годы. Еврейское происхождение его отца вписывалось в образ экзотического «чужестранца». Мать Сергея красавица Елизавета Дурново принадлежала к старинному дворянскому роду. Она была членом подпольной организации «Земля и воля», ее неоднократно арестовывали, и многие годы семья Эфронов находилась в изгнании, а за два года до их знакомства произошла трагедия — умер отец Сергея Яков Эфрон, некоторое время спустя покончил с собой младший брат, и в тот же день мать, не в силах перенести горе, ушла вслед за ним. Сам же Сергей Эфрон заболел туберкулезом.

Когда Марина впервые увидела Сергея в белой рубашке на скамейке у моря, он был, по ее признанию, так неправдоподобно красив, что, казалось, ей стыдно ходить по земле.

И новые зажгутся луны,
И лягут яростные львы
По наклоненью Вашей юной,
Великолепной головы.

Тогда среди камешков черноморского пляжа он нашел тот, который она загадала — ее любимый сердо-

¹⁸ М. Цветаева, т. 4, стр. 194.

лик. Он — воплощение мечты ее покойной матери — сын «красавицы и героини» и воплощение ее собственного идеала. Воображение, которое она называла своей второй памятью, возможно, тогда вызвало образы молодых героев Отечественной войны. Не случайно, спустя некоторое время, она посвятила Сергею стихотворение «Генералам двенадцатого года».

Ах, на гравюре полустертой,
В один великолепный миг,
Я видела, Тучков — четвертый,
Ваш нежный лик.

И вашу хрупкую фигуру,
И золотые ордена...
И я, поцеловав гравюру,
Не знала сна...

О, как, мне кажется могли вы
Рукою, полною перстней,
И кудри дев ласкать — и гривы
Своих коней.

В одной невероятной скачке
Вы прожили свой краткий век...
И ваши кудри, ваши бачки
Засыпал снег.

Поцелуй гравюры в стихотворении, посвященном мужу, становится символом брака Цветаевой и Эфрона — художественного вымысла, воплощенного в реальность. Позднее Берберова писала об «эфемерности придуманных ею (Цветаевой — М. П.) себе ролей, где роли-то были выдуманы и шпаги картонные, а кровь все-таки текла настоящая». Характерная де-

таль: Цветаева и Эфрон до последних дней своей совместной супружеской жизни, как правило, обращались друг к другу на «Вы».

Цветаева верила, что Эфрон будет соответствовать требованиям ее воображения, — он будет одновременно ранимым и бесстрашным, нежным и решительным, беспомощным и заботливым.

Однако судьба семьи Цветаевых-Эфрон складывалась так, что Марине приходилось самой воспитывать детей — Алю и Иру, которая умерла в голодные годы гражданской войны в приюте¹⁹. На протяжении всей жизни у Эфрона не окажется свободного времени, в том числе и для материального обеспечения семьи. Мы находим его либо на фронте, либо на очередной учебной скамье — в Москве ли, в Праге ли, — письма Цветаевой «пестрят» сведениями о том, как Сережа сдает экзамены, и как ему трудно учиться — в гимназии, военном училище, Пражском университете и т. д. При этом, он всегда болен — тут уж ничего не поделаешь — и, соответственно, нуждается в заботе. В одном из писем Рильке (13 мая 1926 г.) Цветаева дала следующую характеристику Эфрону: «Мой муж всю молодость был добровольцем, ему скоро 31... очень болезненный, а кроме того мужчина не может делать женскую работу, это ужасно выглядит (на женский взгляд) — сейчас он еще в Париже, скоро придет. В юнкерском училище его называли «астральный юнкер», он красив: страдальческой красотой»²⁰.

Когда началась гражданская война, Эфрон, закончив юнкерскую школу²¹, стал офицером Добровольчес-

¹⁹ Из письма Цветаевой 20 февраля 1920 года: «Друзья мои! У меня большое горе: умерла в приюте Ирина - 3-го февраля, четыре дня назад, и в этом виновата я. Я так была занята Алиной болезнью (малярия - возвращающиеся приступы) - и так боялась ехать в приют (боялась того, что случилось), что понадеялась на судьбу».

²⁰ Небесная арка, Санкт-Петербург, 1992, стр. 69.

²¹ В 1917 году Сергей Эфрон обучался в 1-й Петергофской школе прапорщиков, которую Цветаева называет «юнкерским училищем».

кой белой армии и пропал без вести. Цветаева осталась в Москве одна с пятилетней Алей и шестимесячной Ириной, не готовая к лишениям, с которыми столкнулась, и суровым испытаниям в новом обществе, чьи нравственные принципы она, разумеется, отвергла.

В июле 1921 года Цветаева узнала от Ильи Эренбурга, что Эфрон жив и находится в Чехии. Затем Марина получила от Сергея первую весточку — письмо, при виде которого она, по ее собственным словам, «закаменела». Сергей жив! Он писал ей: «Мой милый друг, Мариночка, сегодня получил письмо от Ильи Григорьевича, что вы живы и здоровы. Прочитав письмо, я пробродил весь день по городу, обезумев от радости...

Что мне писать Вам? С чего начать? Нужно сказать много, а я разучился не только писать, но и говорить. Я живу верой в нашу встречу. Без Вас для меня не будет жизни, живите! Я ничего от Вас не буду требовать — мне ничего не нужно, кроме того, чтобы Вы были живы...

Наша встреча с Вами была величайшим чудом, и еще большим чудом будет наша встреча грядущая. Когда я о ней думаю - сердце замирает — страшно — ведь большей радости и быть не может, чем та, что нас ждет»:

Марина записала тогда в своей тетради: «С сегодняшнего дня — жизнь. Впервые живу».

Кажется, появлялась возможность после четырех лет разлуки встретиться с мужем в Берлине и соединиться, наконец, с ним, жить единой семьей. Отъезд приближался. Всего за неделю Цветаева оформила для себя и дочери разрешение на выезд за границу. Багаж состоял из сундучка с рукописями, одного чемодана и портпледа, последнего подарка отца Марины. Одежды и обуви у них почти не осталось — все было сношено. Остались только Алины валенки, которые взяли с собой, и Маринины узорные разноцветные казанские са-

пожки. В одной из тетрадей Цветаевой сохранился список вещей, которые необходимо было забрать с собой.

«Список (драгоценностей за границу):

Карандашница с портретом Тучкова IV²²

Чабровская чернильница с барабанишкой

Тарелка со львом

Серезжин подстаканник

Алин портрет

Швейная коробочка

Янтарное ожерелье

(Алиной рукой):

Мои валенки

Маринины сапоги

Красный кофейник

Синюю кружку новую

Примус, иголки для примуса

Бархатного льва»

Многие из перечисленных Цветаевой «драгоценных вещей» сопровождали ее и в Германии, и в Чехии, и во Франции, и были вновь привезены ею в Россию в 1939 году. «Цвет ваших глаз и вашего абажура, — писала она в 1913 году, — разрезательный нож и узор на обоях, драгоценный камень на любимом кольце, все

²² В одном из писем Анне Саакянц А. Эфрон писала, что Цветаева приобрела эту карандашницу на толкучке в Москве: «... Мама купила чудесную круглую высокую (баночку? коробочку?) из папье-маше с прелестным романтическим портретом Тучкова-четвертого в мундире, в плаще на алой подкладке — красавец! И... перед красотой Тучкова не устояла, — вот и стихи! Коробочка эта сопровождала маме всю жизнь, стояла на столе, с карандашами, ручками. Ездил из России, вернулась в Россию...» А. Саакянц, М. Цветаева, М. 1986, стр. 56.

это будет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, бедной души»²³. А. Эфрон в своих мемуарах сообщила, что многие реликвии матери бесследно исчезли во время войны.

Цветаеву провожал всего один человек, актер и режиссер Алексей Александрович Чабров (настоящая фамилия Подгаецкий). В письме к Эренбургу она назвала его своим приятелем, который «прекрасно понимает стихи, очень причудливый, любящий всегда самое неожиданное и всегда до страсти!»

11 мая 1922 года погрузили скудный багаж в повозку, и Марина с дочерью отправились на Виндавский (ныне — Рижский) вокзал. В Риге их ожидала пересадка на берлинский поезд. На пути к вокзалу Марина и Аля крестились на каждую церковь, попадавшуюся навстречу.

А в опустевших комнатах дома 6 по Борисоглебскому переулку царил хаос разоренного гнезда — развороченные шкафы, разбросанные на полу книги, бумаги и фотографии.

V

"Бессонные русские"

*Над сказочными из сирот
Вы смилостивились, казармы*

*М. Цветаева.
Берлину*

После революции 1917 года немецкая столица оказалась, как уже упоминалось, пристанищем русской эмиграции. Русский серебряный век «переехал» в Берлин, который Владислав Ходасевич тогда же, в 1923 году, в стихотворении «Все каменное» назвал «мачехой российских городов».

Все каменное. В каменный пролет
Уходит ночь. В подъездах у ворот —

Как изваянья — слипшиеся пары.
И тяжкий вздох. И тяжкий дух сигары.

Бренчит о камень ключ, гремит засов.
Ходи по камню до пяти часов,

²³ М. Цветаева, т. 5, стр. 229.

Жди: резкий ветер дунет в окарино
По скважинам громоздкого Берлина —

И грубый день взойдет из-за домов
Над мачехой российских городов.

Нина Берберова в романе «Курсив мой» также говорит о неприятии эмигрантами неуютного чужого города, по которому бродят они по ночам — отверженные, но которых, однако, никто не изгоняет — город как будто позволяет им существовать здесь в полной безопасности. «Мачеха» была на удивление терпима к эмигрантам. Бердяев отмечал, что немцы отличались большей лояльностью к выходцам из России, чем французы. Германия, выплачивавшая огромные репарации союзникам после поражения в Первой мировой войне, и переживавшая значительные экономические трудности, тем не менее, стала мостом, соединяющим эмигрантский мир с Россией.

«Чахлые деревья, чахлые девицы на углу Мотцштрассе, — писала Берберова, — все мы — бессонные русские — иногда до утра бродили по этим улицам, где днем чинно ходят в школу чахлые немецкие дети — те, что родились в эпоху газовых атак на западном фронте и которых перебьют потом под Сталинградом»²⁴. Эренбург как бы вторит Берберовой в романе «Люди, годы, жизнь»: «Газеты сообщали, что из ста новорожденных, поступающих в воспитательные дома, тридцать умирают в первые дни. (Те, что выжили, стали призывом 1941 года, пушечным мясом Гитлера...) ..Ллойд Джорж заявил, что немцы выплатят репарации до последнего пфеннинга. Смертность на почве хронического недоедания возрастала...

Мало кто читал труды Шпенглера, но все знали название одной из его книг — «Закат западного мира»... в которой он оплакивал гибель близкой ему культуры.

На Шпенглера ссылались и беззастенчивые спекулянты, и убийцы, и лихие газетчики, — если пришло время умирать, то незачем церемониться; появились даже духи «Закат Запада».

Понять «мачеху российских городов» было нелегко. В ее школах сидели чинные мальчики, которым предстояло двадцать лет спустя исполосовать мать городов русских»²⁵.

Что же касается эмигрантов, то в них жила непоколебимая уверенность в том, что большевики не смогут долго удержать власть, что эта власть вот-вот рухнет, и эмигранты покинут Германию — вернуться в свои разоренные гнезда. Лишь к 1924 году, когда столица русской диаспоры переместилась из Берлина в Париж, постепенно стало формироваться сознание, что нужно налаживать жизнь здесь, на Западе, что в Россию уже не вернуться — «транзитный» период окончился.

На сочувствие и жалость эмигранты не рассчитывали. «..Люди кругом становились все безжалостнее, — писала Берберова, — и это было законом времени, а вовсе не модой, веком, а не днем. Безжалостное в людях нашего времени началось еще в 80-х — 90-х годах прошлого века, когда Стриндберг писал свою «Исповедь глупца» — там можно было найти некоторые ответы на двуострую драму Андрея Белого. «Пожалейте меня!» — но никто уже не умел, да и не хотел жалеть. Слово «жалость» доживало свои последние годы, недаром на многих языках это слово теперь применяется только в обидном, унижающем человека смысле: с обертоном презрения на французском языке, с обертоном досады на немецком языке, с обертоном иронического недоброжелательства — и на английском»²⁶.

²⁴ Н. Берберова, стр. 203.

²⁵ И. Эренбург, Люди, годы, жизнь, М., 1963, II, стр. 17, 22, 35.

²⁶ Н. Берберова, стр. 190.

Газета «Руль», в которой под псевдонимом Сирий регулярно печатался молодой Набоков, опубликовала в 1921 году его стихотворение «Беженцы», в котором отразилось отчаяние эмигранта, навсегда лишившегося родины:

Я объездил, о Боже, твой мир,
Оглядел, облизал, — он, положим,
Горьковат... Помню пыльный Каир:
Там сапожки я чистил прохожим...
Также помню и бойкий Бостон,
Где плясал на кабацких подмостках...
Скучно, Господи! Вижу я сон,
— Белый сон о каких-то березках...
Ах, когда-нибудь райскую весть
Я примечу в газете раскрытой,
И рванусь и без шапки, как есть,
Возвращусь я в мой город забытый!
Но, увы, приглянувшись к нему,
Не узнаю... и скорчусь от боли:
Даже вывесок я не пойму:
По-болгарски написано, что ли...
Поброжу по садам, площадям,
— Большеглазый, в поношенном фраке...
«Извините, какой это храм?»
И мне встречный ответит: «Исакий»...²⁷

Английский исследователь Р. С. Уильямс утверждал, что в 1922 году в Берлине находилось около ста тысяч русских²⁸. Эмигранты, туристы с советскими паспортами, бывшие военнопленные, остатки различных белых освободительных корпусов — все эти люди поначалу оказывались иногда в одних и тех же пансионах, и в одних кафе.

В этой атмосфере относительной политической свободы и интеллектуального возбуждения, формировались различные партии, от право-консервативных до

лево-либеральных, и возникали всевозможные сообщества. Например, в газете «Накануне» за 3 июня 1922 года под заголовком «Русские учреждения в Берлине» находим такие колоритные названия: «Союз Русских летчиков в Германии», «Союз Российских Студентов Германии», «Еврейский Студенческий союз», «Общество русских инженеров в Германии», «Союз колонистов Черного моря» и так далее. Томас Урбан в книге о Набокове «Синие сумерки Берлина» указывает адреса некоторых российских объединений в Берлине:

- *Союз защиты русских граждан в Германии (Виландштрассе)*
- *Союз русских врачей в Берлине (Вильгельмштрассе)*
- *Союз русских журналистов и писателей (Маркграфенштрассе)*
- *Союз русских адвокатов в Германии (Францозише штрассе)*
- *Общество русских евреев в Германии (Клейстиштрассе)*
- *Союз русских инженеров в Германии (Пассауэрштрассе)*
- *Центральный союз русских инвалидов войны в Германии (Ное Кантштрассе)*
- *Союз представителей русской сцены (Савиньплац)*
- *Американский фонд поддержки русских писателей и ученых (Маркграфенштрассе)*
- *Союз российских студентов в Германии (Штутгартерплац)*
- *Русское студенческое объединение в Германии (Барбароссаштрассе)²⁹*

²⁷ «Руль», 19(6) июня 1921 г.

²⁸ М. Разумовская «Марина Цветаева», М., 1994, стр. 147.

²⁹ Thomas Urban, Vladimir Nabokov. Blaue Abende in Berlin, 1999, S. 17.

Сотни русских писателей поселились тогда в Берлине. Среди них — В. Набоков, В. Шкловский, В. Ходасевич, Н. Берберова, Н. Тэффи, А. Ремизов, М. Алданов, Г. Ландау, С. Маковский, Н. Минский, П. Муратов, И. Соколов-Микитов, Саша Черный, С. Волконский, Н. Оцуп, И. Шмелев и многие другие. Сюда на «гастроли» приезжали и посланцы Советской республики В. Маяковский и С. Есенин.

В 1921 году в Берлин из Парижа переехал А. Толстой со своей семьей, с тем, чтобы затем в 1923 году вернуться отсюда в Петроград. Здесь же, неподалеку от Толстого, поселился М. Горький, который, наоборот — из Петрограда приехал в Берлин и настоятельно отговаривал Толстого от возвращения в Россию.

Берлинская русскоязычная пресса тех лет полна сообщениями о литературных новостях, об открывающихся курсах по изучению языков и освоению новых профессий и о постоянно прибывающих знаменитостях. Так например, газета «Накануне» 7 мая 1922 года в разделе «Литературная хроника» сообщает:

«В середине мая в Берлин приезжает Валерий Брюсов», «В двадцатых числах мая из Флоренции в Берлин прибывает П. Е. Щеголев, отвозивший на Флорентийскую книжную выставку образцы изданий Госиздата», «Борис Зайцев приезжает в Берлин 15 мая», «От петербургского ордена «Серапионовых братьев» получен в Берлин целый ряд рукописей (стихи и беллетристика)».

Газета «Руль» в разделе «Хроника» сообщает: «Объявленные союзом российских студентов в Германии «Курсы русского языка для немцев» вызвали к себе большой интерес со стороны немцев. За два последних дня записались через союз на курсы свыше ста человек»³⁰.

Так называемый русский Берлин располагался в основном в районе между Прагерплатц и Ноллендорфплатц. На этом сравнительно небольшом пространстве

находились многочисленные русские издательства, парикмахерские, книжные, галантерейные и продовольственные магазины. Повсюду в Европе, где собиралось сколько-нибудь значительное число русских эмигрантов, и, прежде всего, в Берлине возникали русские газеты и журналы, печатались альманахи и книги (количество русских издательств в Берлине достигло немыслимой цифры — 87), которые тут же, на прилавках магазинов (не только книжных) и продавались.

Здесь можно было купить эмигрантские газеты различных политических оттенков — кадетскую ежедневную газету «Руль» или же эсеровские «Дни», монархическую газету «Грядущая Россия», просоветскую «Новый мир», а также ориентированную на советскую Россию «Накануне». В Берлине издавалось большое количество русских журналов, свидетельствующих об интенсивной идейной и духовной жизни эмигрантов. Это были: «Эпопея» Андрея Белого, «Новая русская книга» под редакцией А. С. Яценко, «Беседа», основанная по инициативе М. Горького.

Журнал «Беседа», издателем которого был С. Г. Каплун, просуществовал недолго — с 1923 по 1925 год и выпустил всего семь номеров, однако сумел опубликовать таких крупных зарубежных писателей, как Дж. Голсуорси, Ж. Ренана, Р. Роллана, С. Цвейга, М. Синклера, Л. Пиранделло, М. Ганди. Среди русских авторов были опубликованы А. Блок, Ф. Сологуб, А. Белый, В. Ходасевич, А. Ремизов, Л. Лунц, Б. Шкловский, Н. Берберова, Вл. Лидин, Н. Оцуп, Н. Чуковский, С. Черниковский, переведенный с идиша Ходасевичем. Журнал предназначался для России, но не был туда допущен.

Обилие всевозможных русских заведений, как будто бы обособленных, отгороженных от остального

³⁰ «Руль» от 25 мая 1921 г.

мира в самом центре Берлина, создавало особый городской колорит и должно было, по всей вероятности, производить на коренных берлинцев впечатление гофмановской фантазмагии. Причем, как отмечал В. Набоков, эмигранты, находясь в этом вольном зарубежье «в вещественной нищете и духовной неге», как будто бы и не замечали проходящих мимо берлинцев. В романе «Другие берега» Набоков называл коренных жителей Берлина туземцами и «призрачными иностранцами», в чьих городах русским изгнанникам «доводилось физически существовать».

«Все это было пока еще далеко от «государства в государстве», — вспоминал редактор газеты «Руль» И.В. Гессен, — но навязывалось сравнение с опытом, который был показан в гимназии преподавателем физики и произвел впечатление замечательного фокуса: опущенное в чуждую ему жидкость масло собиралось в шарик и в таком виде независимо держалось»³¹.

VI

Берлинские кафе

*Что ж? От озноба и простуды —
Горячий грог или коньяк.
Здесь музыка, и звон посуды,
И лиловатый полумрак.*

*В. Ходасевич.
Берлинское*

Посещение ресторанов и, прежде всего, кафе было и остается неотъемленной частью светской жизни Берлина. «На всех главных улицах города есть кафе на Венский манер, — сообщал русский путеводитель Грибенса за 1923 год. — В них после обеда, а также вечером после закрытия театров, вечеров, балов и т. д. очень оживленно, здесь собирается даже лучшее общество»³². Не менее популярными в Берлине были всевозможные пивные, такие, как «Зихен» («Дворец пива. Нюрнбергское пиво. Вечером часто переполнено»), ликерные, винные погреба, «известные своим здоровым юмором» кабаки для публики попроще, а также так называемые дилен, представлявшие собой нечто среднее между кафе и баром.

³¹ И. В. Гессен, Годы изгнания. Жизненный отчет, Париж 1979, стр. 52.

³² Берлин и окрестности. Путеводитель Грибенса, т. 197, Берлин 1923, стр. 19.

В двадцатые годы Берлин уступал в Западной Европе разве что Парижу по количеству русских питейных заведений. Среди них особую известность приобрели рестораны национальной кухни «Русский уголок» и «Ванька-Встанька», ресторан-кабаре «Литл-Буфф», русский бар «Эрмитаж» и пивная «Медведь». «Все русские рестораны очень популярны, благодаря превосходной кухне и хорошему исполнению подвизающихся там артистов», — говорилось в путеводителе³³.

У русской интеллигенции в Берлине, кроме упомянутого выше «Прагердиле», было еще несколько излюбленных кафе. Это кафе «Ландграф», «Леон» и «Флора Диле».

Литературное кафе — не только французская и немецкая традиция, но и русская. В начале двадцатого века среди петербургской и московской художественной интеллигенции значительную роль играли ставшие своеобразными клубами столичные кафе и рестораны, в которых не утихали споры об искусстве, читались стихи, а иногда устраивались театральные представления.

В Петербурге такими «клубами» стали кафе «Бродячая собака», разместившееся в подвале дома на Михайловской площади, и ресторан «Капернаум» на Владимирском проспекте в доме 7. Самой большой популярностью у литераторов пользовался ресторан «Вена» на Малой Морской. Литературные и живописные экспромты в изобилии украшали стены ресторана. Современник объяснял факт подобных клубов следующим образом: «Литератор русский не чиновник из пробирной палатки, которому ресторан нужен исключительно для обеда... не купец, для которого в ресторанах требуется семь чайников чаю... Русскому литератору нужно место, где бы он мог, помимо обеда, повидаться со своими, потолковать, посмеяться, прочесть свои стихи»³⁴.

В кафе «Ландграф» на Курфюрстенштрассе 75 — просторном заведении с уютными столиками, любезными

официантами и удобной сценой — в ноябре 1921 года состоялось первое заседание Дома искусств. В русской эмигрантской прессе — в журнале «Новая русская книга» и газете «Голос России» — было сообщено, что берлинский Дом искусств был основан как аналог петроградского.

О петроградском Доме искусств на Мойке 59 вспоминала Ольга Форш: «...Редкий писатель, ткнув пальцем в то или иное окно, не скажет: «Здесь я жил и писал мой том первый». На четвертом этаже флигеля особняка Елисеевых жили и работали М. Зощенко, Вс. Иванов, О. Мандельштам, А. Грин, К. Федин. А в начале 1921 года здесь сложилась творческая группа молодых литераторов — «Серапионовы братья», назвавшая себя так в память о литературном обществе, впервые собравшемся в Берлине в квартире Э. Т. А. Гофмана 14 ноября 1818 года (в день святого Серапиона)³⁵.

По свидетельству Берберовой, в берлинском Доме искусств читали свои произведения Эренбург, Муратов, Ходасевич, Оцуп, Шкловский, Лидин, Зайцев и многие другие. «Просматривая записи Ходасевича 1923 — 1924 годов, — писала она, — я вижу, что целыми днями, а особенно вечерами, мы были на людях»³⁶.

Илья Эренбург также вспоминает Дом искусств: «В Берлине существовало место, напоминавшее Ноев ковчег, где мирно существовали чистые и нечистые: оно называлось Домом искусств. В заурядном немецком кафе по пятницам собирались русские писатели. Читали рассказы Толстой, Ремизов, Пильняк, Соко-

³³ Берлин и окрестности. Путеводитель Грибенса, т. 197, Берлин 1923, стр. 26.

³⁴ Десятилетие ресторана Вена, 1913.

³⁵ Большинство членов легендарного союза «Серапионовы братья» стали литературными героями собрания новелл Гофмана, цикла, названного им также «Серапионовы братья».

³⁶ Н. Берберова, стр. 205.

лов-Микитов. Выступал Маяковский. Читали стихи Есенин, Марина Цветаева, Андрей Белый, Пастернак, Ходасевич. Как-то я увидел приехавшего из Эстонии Игоря Северянина; он по-прежнему любовался собой и прочитал все те же «поэзы». На докладе художника Пуни разразилась гроза; яростно спорили друг с другом Архипенко, Альтман, Шкловский, Маяковский, Штеренберг, Габо, Лисицкий, я... Теперь мне самому все это кажется неправдоподобным. Года два или три спустя поэт Ходасевич... никогда не пришел бы в помещение, где находился Маяковский. Видимо, не все кости еще были брошены. Горького некоторые называли «полуэмигрантом». Ходасевич, ставший потом сотрудником монархического «Возрождения», редактировал с Горьким литературный журнал и говорил, что собирается вернуться в Советскую Россию. А. Н. Толстой, окруженный сменовеховцами, то восхвалял большевиков как «собирателей земли русской», то сердито ругался. Туман еще клубился»³⁷. Среди многочисленных посетителей Дома искусств Эренбург упоминает Марину Цветаеву. В самом деле, уже на четвертый день по приезде в Берлин она читала в Доме искусств стихи — и свои собственные, и Маяковского.

В адрес Дома искусств, разумеется, нередко раздавалась критика со стороны эмигрантских изданий, ориентированных на советскую Россию. Так, например, в берлинском журнале «Огонек. Иллюстрированная летопись современной жизни» вначале 1923 года появился фельетон «Берлинские впечатления Пьер-О», рисующий далеко не лестную картину литературной жизни русской эмиграции:

*«Захотелось более чистых и возвышенных впечатлений.
И в первую же пятницу я отправился в Дом Искусств.
Ландграф-Кафе было переполнено.*

«Какая смесь имен и лиц, племен, наречий, состояний». И среди них очень маленькая, но маститая фигура поэта Минского.

И такая же маленькая, но не менее маститая, фигура писательницы Венгеровой.

У входа меня задержала молодая поэтесса Гатида:

— Во-первых, десять марок, а во-вторых, рекомендация двух членов, — сказала она.

— Да вы не беспокойтесь, — обиделся я, — я человек вполне приличный, не напьюсь и сквернословить не стану.

— Нет, без рекомендаций нельзя, — строго заметила она. (...)

— Что же, — подумал я, — это, пожалуй, и хорошо... Чтобы в литературное собрание не ворвалась улица. (...)

На эстраде появился такой молодой черкес...

Он стал в черкесскую позу, окинул слушателей победоносным взглядом и, желая подготовить эффект, изрек:

— Что же... Прочесть вам что-нибудь особенно нежное?

— Нежное, нежное, — послышалось несколько влюбленных женских голосов.

— Извольте: Обо мне говорят, что я сволочь... — отчеканивает он начало стихов.

После черкеса вышел на эстраду режиссер Кроль и заявил, что поэт Парнах будет демонстрировать «искажения новых движений в области движений». Вышло существо, о котором словами Щедрина можно было бы сказать: «Одна ноздря, а спины даже нет», и начало корчиться в предсмертных судорогах...»³⁸.

Особенно резкие выпады в адрес Дома искусств появлялись на страницах газеты «Накануне». Так на-

³⁷ И. Эренбург, Люди, годы, жизнь, II, стр. 30, 31.

³⁸ Цитируется по «Зеркало Загадок», берлинский культурно-политический журнал, Берлин 1999, 8, стр. 38.

пример, в статье, подписанной «Старый Хроникер» от 30 марта 1922 года сообщалось: «Роль этих клецок в гастрономическом вареве Дома Искусств играли Эренбург и Белый... Когда литературная Москва задумала несколько поперчить берлинское вариво, они кинули в него — большой лавровый лист — Ремизова и имажинистскую перчинку Кусикова. Однако лавры в Берлине пришлось не ко двору, а перчинка так и осталась непроваренной»³⁹.

В 1922 году в знак протеста против сильной политизации Дома искусств была создана альтернативная организация - Клуб писателей, в который вошли по преимуществу противники газеты «Накануне». Клуб расположился в кафе «Леон» по адресу Бюловштрассе 1. Позднее в это же кафе перебрались также и оставшиеся члены Дома искусств, но расположились в другом зале.

Берлинский Дом искусств прекратил свое существование одновременно с петроградским — в 1923 году. Судьба распорядилась так, что несмотря на позднейшие бомбардировки Ленинграда, здания, в которых когда-то находились литературные кафе и петроградский Дом искусств, сохранились почти без изменений. Иная судьба у берлинских кафе. Кажется, что во время бомбардировок Берлина в 1945 году, прицельный огонь велся именно по «стратегическим объектам» русской эмигрантской культуры. Война беспощадно стерла все следы, и негде было бы установить мемориальную доску.

VII

«Берлинский Белый»

*Серебро, медь, лазурь — вот в каких цветах
у меня остался Белый, летний Белый,
берлинский Белый, Белый бедового своего
тысяча девятьсот двадцать второго лета.*

*М. Цветаева.
Пленный дух*

В свой первый берлинский вечер 1922 года Марина Цветаева встретила в кафе «Прагердиле» того, кому двенадцать лет спустя в Париже посвятит одно из самых блестящих своих прозаических произведений — эссе «Пленный дух». Поводом к написанию «Пленного духа» послужило известие о кончине Андрея Белого 8 января 1934 года.

10 января 1934 в Москве Мандельштам стоял в почетном карауле у гроба Белого. Впечатление этого дня легли в основу написанного им стихотворения, где он так же говорит о сиротстве поэта — одной из ведущих тем «Пленного духа». Разумеется, у Цветаевой тогда в Париже не было возможности прочитать эти строки Мандельштама:

³⁹ Цитируется по "Зеркало Загадок", Берлин 2000, 9, стр. 24.

На тебя надевали тиару — юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель,
дурак!

Как снежок на Москве, заводил кавардак
гоголек:
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок.

.....

Меж тобой и страной ледяная рождается связь
Так лежи, молодежь и лежи, бесконечно прямясь.
Да не спросят тебя молодые, грядущие, те —
Каково тебе там, в пустоте, в чистоте-сироте...

Однако несомненно — и Цветаева, и Мандельштам
находились под впечатлением стихов самого Белого:

Полный радостных мук,
утихает дурак.
Тихо падает на пол из рук
сумасшедший колпак.

В «Пленном духе» Цветаева цитирует письмо Белого, присланное ей из Цоссена на следующий день - это следует из текста — после их встречи в кафе. Письмо датировано: «Zossen, 16 мая 22 г.». Стало быть, именно 15 мая, в день приезда, и произошла их первая встреча. (В литературе бытует мнение, что Цветаева встретила с Андреем Белым спустя некоторое время после прибытия в Берлин.)

Андрей Белый переживал в 1922 году глубокий духовный кризис. Одной из причин был разрыв с давним немецким другом и духовным учителем, антропософом Рудольфом Штейнером. Оказавшись после революции, гражданской войны и военного коммунизма в Берлине,

Белый почувствовал себя одиноким и беззащитным. Кроме того, он надеялся здесь, в Берлине вернуть себе бывшую жену Асю Тургеневу, которую не видел с 1916 года, однако и эта его надежда оказалась напрасной.

«От «Пожалейте меня!», сказанного в слезах, — писала Берберова, — до удара громадным кулаком по столу: «проклинаю всех!» — он почти каждый вечер проходил всю гамму своего отношения к людям, в полубреду, который он называл «перерывом сознания»⁴⁰. Однажды Берберова наблюдала за ним, когда он на старом пианино играл «Карнавал» Шумана, но никто его не слушал, поскольку все были заняты своей «свирепейшей имманенцией».

С Белым Цветаева встречалась не раз еще в юношеские годы, и относилась к нему с почтительным восхищением. Видела она его, как правило, издалека, в созданном группой символистов московском издательстве «Мусагет». Белый — у преподавательской черной доски с мелом в руке, над ним портреты «советника Гете и доктора Штейнера, во все свои глаза глядевшие и не глядевшие на нас со стены.

Так это у меня и осталось: первый Белый, танцующий перед Гете и Штейнером, как некогда Давид перед ковчегом. В жизни символиста все — символ. *Не-символов — нет*».

В 1910 году Белый всецело находился под влиянием Рудольфа Штейнера и с большим успехом распространял среди московской интеллигенции его антропософское учение. Разумеется, он тогда не мог предположить, что когда-нибудь, в трудный для него период жизни в эмиграции, они со Штейнером разойдутся. Цветаева не случайно с горькой иронией подчеркивает символизм и пророческий смысл сцены в «Мусагете»:

⁴⁰ Н. Берберова, стр. 190.

Белый прыгает перед портретом Рудольфа Штейнера, как царь Давид перед ковчегом, где сохранились мои-сеевы скрижали с десятью заповедями.

Штейнер, который в свою очередь считал себя учеником Гете, идол новой философии, чьи «заповеди» Белый страстно проповедует, потом отвернется от него, и именно это обстоятельство не в последнюю очередь станет причиной возвращения Белого в большевистскую Россию. «*Не-символов — нет*», — говорит Цветаева.

Цветаева и Белый сблизилась на чужбине. В «Пленном духе» она вспоминает об их первой встрече в «Прагердиле»:

«И вдруг через все — через всех — протянутые руки — кудри — сияние:

— Вы? Вы? (Он так и не знал, как меня зовут.)
Здесь? Как я счастлив!»

Казалось, Белый не замечал Цветаеву в Москве, однако, как выясняется теперь, за столиком в кафе на Прагерплатц, он многое о ней знает и помнит. «...Почему мы с вами так мало встречались в Москве, так мимолетно. Я все детство слышал о вас, все *ваше* детство...» — говорит ей Белый. Он вспоминает о том, что они оба из профессорских семей. «Вы понимаете, что это значит: профессорские дети? Это ведь целый круг, целое Стедо».

Присутствующие молча удаляются, оставляя их одних, и они вспоминают прошлое и счастливы. Белый сказал ей: «Но оставим *профессорских* детей, оставим только одних *детей*. Мы с вами, как оказалось, дети (вызывающе:) — все равно чьи! И наши отцы — умерли. Мы с вами — сироты, и — вы ведь тоже пишете стихи? — сироты и поэты. Вот!»

Редактор издательства «Геликон» А. Вишняк передал Белому экземпляр нового поэтического сборника Цветаевой «Разлука», выпущенного до ее приезда — весной 1922 года. Белый читал книгу весь вечер. На следующее утро Цветаева получила от него письмо:

Zossen, 16 мая 22 г.

Глубокоуважаемая Марина Ивановна.

Позвольте мне высказать глубокое восхищение перед совершенно крылатой мелодией Вашей книги «Разлука».

Я весь вечер читаю — почти вслух; и — почти распеваю. Давно я не имел такого эстетического наслаждения.

А в отношении к мелодике стиха, столь нужной после расхлябанности Москвичей и мертвенности Акмеистов, ваша книга первая (это — безусловно).

Пишу — и спрашиваю себя, не переоцениваю ли я свое впечатление? Не приснилась ли мне Мелодия?

И — нет, нет; я с большой скукою разворачиваю новые книги стихов. Со скукою развернул и сегодня «Разлуку.» И вот — весь вечер под властью чар ее. Простите за неподдельное выражение моего восхищения и примите уверения в совершенном уважении и преданности⁴¹.

Под властью чар стихов Цветаевой Белый написал статью о сборнике «Разлука» и опубликовал ее в газете «Дни». «Статьей и устной хвалой не ограничился, — писала Цветаева. — Измученный, ничего для себя не умеющий, сам, без всякой моей просьбы устроил две мои рукописи: «Царь-Деву» в «Эпоху» и «Версты» в «Огоньки», подробно оговорив все мои права и преимущества. Для себя не умеющий — для другого смог»⁴².

Некоторое время они встречаются постоянно. Белый приезжает из Цоссена в Берлин навестить Марину, Марина и Аля посещают его в мрачном Цоссене. «Пустынно. Неуют новорожденного поселка, — пишет Цветаева в «Пленном духе». — Новосотворенного, а не

⁴¹ Воспоминания о Марине Цветаевой, стр. 244.

⁴² Воспоминания о Марине Цветаевой, стр. 245.

рожденного. Весь неуют муниципальной преднамеренности. Была равнина, решили — стройтесь. И построились, как солдаты. Дома одинаковые, заселенно-неживые. Постройки, а не дома... И странное население. Странное, во-первых, чернотой; в такую жару — все в черном. (Впрочем, эту же черноту отметила уже в вагоне, и слезла она вся на моей станции.) В черном суконном, душном, непродышанном. То и дело обгоняют повозки с очень краснолицыми господами в цилиндрах и такими же краснолицыми дамами, очень толстыми, с букетами — и, кажется, венками? — на толстых животах. Цветы — лиловые.

Наконец — дом, все тот же первый увиденный и сопровождавший нас слева и справа вдоль всего шоссе. Барак, а не дом. Между насестом и будкой. С крыльцом. А на крыльце с крыльца:

— Вы? Вы? Родная! Родная!»

Белый вводит их в совершенно пустую комнату с некрашеным столом посередине, усаживает и продолжает:

«Как вам здесь нравится? Мне... не нравится... Говорили, у Берлина чудные окрестности... Я ждал... вроде Звенигорода... А здесь... как-то... голо? Вы заметили деревья?... Без тени! Это человек был без тени — в каком-то немецком предании, но это был человек, деревья — обязаны отбрасывать тень! И птицы не поют — понятно: в таких деревьях!»

Белый говорит ей, что люди здесь подозрительны — все носят только черное, ступают тихо, мебель у них одинаково белая и пахнет свежим тесом, и в этом, по его мнению, есть что-то зловещее, так что не исключено, что он поселился в каком-то особенном поселке. Цветаева пытается его успокоить объяснением, что после войны везде так.

Ах, вот оно что? Теперь ему понятно, что он попал во вдовый поселок. «Здесь, наверное, где-нибудь близко кладбище? — спрашивает Белый. — Гигантское кладбище! Они

просто построились на кладбище, теперь я понимаю однородность построек... Но вот что изумительно: вид у них, при всем их вдовстве, цветущий, я нигде не видал таких красных лиц... Впрочем, понятно: постоянные поминки... Теперь я и цилиндры понимаю. Когда он идет на могилу к жене, он надевает цилиндр, который перед могилой снимает, — в этом жесте весь обряд. Но, знаете, странно, они на могилу ездят целыми фургонами... Вы таковых не встречали? Полные фургоны черных людей... Немецкий корпорационный дух: и слезы вместе, и расходы вместе...».

Цветаева создает в своем воспоминании-реквиеме картину берлинского пригорода, в котором, кажется, витает дух кафкианского «Замка» со всей абсурдностью, жуткой фантазмагорией, свойственной Ф. Кафке. Эмиграция Белого обернулась переходом в антимир, пахнущий тесом свежеструганных гробов, где черные люди ступают бесшумно, словно в войлочных тапочках, а чахлые деревья не отбрасывает тени. Это Петер Шлемель в повести Шамиссо не отбрасывал тени, поскольку продал ее дьяволу. Человек без тени для Белого — пусть литературная, но реальность. Но деревья без тени становятся аномалией и внереального, и внелитературного ряда.

«Жить здесь нельзя», — заключает Цветаева, как бы подводя итог существованию Белого в цоссенском кошмаре. Но где же ему существовать физически? В «Пленном духе» Белый (сидя за столиком в кафе «Прагердиле») говорит Цветаевой: «Я как беспризорный пешляюсь по чужим местам. У меня нет дома, своего места... Я всегда должен пить кофе... Я не бегемот, наконец, чтобы весь день глотать, с утра до вечера и даже ночью, потому что в Берлине ночи нет».

Андрей Белый уехал в Россию внезапно, почти ни с кем не попрощавшись. Цветаева к тому времени находилась уже в Чехии. «Прощания вовсе не было, — пишет Цветаева, — было исчезновение».

«Но был еще один привет — последний. И прощание все-таки было — и какое беловское!»

В Чехии Цветаева получила от Белого письмо с просьбой помочь ему устроиться там — неподалеку от нее. По странному стечению обстоятельств, письмо пришло в тот самый день, когда сам он отбыл в советскую Россию. Лишь спустя двенадцать лет, уже после смерти Белого, Цветаева узнала, что в Цоссене (само слово Цоссен вызывало у Белого неприязнь: «Острое и какое-то плоское, точно клетка»), где, кажется, невозможно творить, он посвятил ей стихотворение, вошедшее в сборник «После разлуки».

Сергей Эфрон сообщил Цветаевой, что этим стихотворением Белый завершил свой сборник. «Единственное посвящение. Больше никому нет», — подчеркнул Эфрон.

«Все еще не веря, беру в руки и на последней странице, в постепенности узнавания, читаю:

М. И. Цветаевой

Неисчислимы
Орбиты серебряного прискорбья.
Где праздномыслия
Повисли тучи.
Среди них —
Тихо пою стих
В неосязаемые угодия
Ваших образов.
Ваши молитвы —
Малиновые мелодии
И —
Непобедимые
Ритмы.

Цоссен, 1922 года.»

VIII

Алексей Толстой в Берлине

Лучше быть, чем иметь

М. Цветаева.

Девиз, придуманный для себя

Осенью 1921 года из Парижа в Берлин с семьей переехал Алексей Толстой. «Осанистый и неторопливый» господин, как его охарактеризовал в начале десятых годов Корней Чуковский, носил титул графа и принадлежал к старинному дворянскому роду, давшему уже России двух писателей — Льва Николаевича Толстого и Алексея Константиновича Толстого. «Гр. Ал. Н. Толстой» — так он подписывал свои первые произведения — был в двадцатых годах уже знаменитым автором цикла рассказов и повестей об усадебной дворянской жизни «Заволжье», романов на эту же тему «Чудаки», «Хромой барин» и неоконченного романа «Егор Абозов». Находясь в эмиграции, он в 1921 году в Севре — между Парижем и Версалем — написал роман «Сестры» — первую часть трилогии «Хождение по мукам», основной темой которой была судьба русской интеллигенции в годы революции.

Его жена Наталья Васильевна Крандиевская, дочь известной в свое время писательницы А. Р. Крандиевской, была необычайно талантливым человеком: писала стихи, сочиняла музыку, занималась живописью и

скульптурой в студии Е. Н. Званцевой в Петербурге, в том самом угловом доме с башней на Таврической улице, где находился литературатурно-художественный салон В. Иванова (знаменитая «башня Иванова»). Студию Званцевой одно время посещал Марк Шагал, где обучался рисунку у М. Добужинского и живописи у Л. Бакста. Крандиевская неоднократно встречалась с Цветаевой в Петербурге, и в Москве и в 1913 году выполнила ее скульптурный портрет.

В Берлине Толстые вначале поселились в пансионе Марии Фишер. В письмах Толстой называет адрес: *Kurfuerstendamm, 31 Pens. M. Fischer*. Дом, в котором находился этот пансион в самом центре Берлина, не сохранился. К осени 1922 года Толстые нашли для себя возможным переехать из пансиона в квартиру на Бельцигштрассе.

Берлин понравился Толстому. Он писал Бунину в Париж: «Милый Иван, приехали мы в Берлин, — Боже, здесь все иное. Очень похоже на Россию, во всяком случае близко от России. Жизнь здесь приблизительно, как в Харькове при Гетмане: марка падает, цены растут, товары прячутся. На улице снег, совсем, как в Москве в конце ноября, — все черное...

Здесь всюду идет издательская деятельность... По всему видно, что у здешних издателей определенные планы торговать с Россией». Бунина, который живет в большой нужде, Толстой зовет в Берлин, где, по его мнению, жизнь дешевле, а возможностей издаваться гораздо больше.

Письма Толстого из Берлина воссоздают атмосферу обманчивого благополучия начала двадцатых годов, а также рисуют картину надвигающегося экономического кризиса. «Мы с семьей... проживаем тринадцать — четырнадцать тысяч марок в месяц, — сообщает он Бунину 21 января 1922 года, — то есть меньше тысячи

франков... В Париже мы бы умерли с голоду. Зарботки здесь таковы, что, разумеется, работой в журналах мне с семьей прокормиться трудно, — меня поддерживают книги, но ты одной построчной платой мог бы существовать безбедно...

Книжный рынок здесь очень велик и развивается с каждым месяцем, покупается все... Словом, в Берлине сейчас около тридцати издательств».

В Берлине Толстой написал несколько рассказов об эмиграции и эмигрантах. Среди них — «На острове Халки» и «Рукопись, найденная под кроватью». В основу рассказа «Черная пятница», также написанном в Берлине, но опубликованном уже в России, легли собственные впечатления о его пребывании с семьей в благопристойном берлинском пансионе фрау Фишер. Незыблемость давно заведенного в нем порядка не нарушили ни война, ни изнурительное бремя репараций — те же чистые салфетки в деревянных кольцах на чистой скатерти.

Возможно, замысел рассказа возник у писателя, когда он случайно стал свидетелем возникшей паники у «Kadewe» — одного из крупнейших в Европе магазинов — в связи с падением марки. В одной из витрин легендарного «Kadewe» сохранившегося до наших дней, висело табло, соединенное с биржей. Показания падения марки менялись каждый час. Богатые берлинцы, находившиеся здесь же, в толпе у витрины, в течение нескольких часов становились нищими.

Толстой не собирался надолго оставаться в Берлине. Город был для него своеобразной «стартовой площадкой» для возвращения в Советскую Россию. Вполне логично было, прежде, чем вернуться в Петроград, где он собирался прочно обосноваться, вначале поселиться в Германии, которая одной из первых признала РСФСР, так что непримиримая часть эмиграции называла ее «красной», а Маяковский нашел для Берлина

промежуточный цвет между красным и белым — он оказался серым. «Белый Париж, серый Берлин, красная Москва» — так он назвал свой доклад.

«У власти стоял канцлер Вирт, — писал Эренбург, — он пытался спасти Германскую республику и в Рапалло подписал соглашение с Советской Россией. Англичане и французы возмутились... Весь мир тогда глядел на Берлин. Одни боялись, другие надеялись; в этом городе решалась судьба Европы предстоящих десятилетий»⁴³.

Толстого в первую очередь интересовало новое политическое движение (хотя он и утверждал, что политикой не интересуется) — так называемое «сменовеховство». Идеологом «сменовеховства» — политики налаживания контактов с большевиками — стал бывший белый офицер Н. В. Устрялов. Находясь в Харбине, он публиковал статьи, в которых доказывал, что идея свержения большевиков силой провалилась, и призывал идти на подвиг сознательной жертвенной работы с новой властью в России.

Настроение и дух «Смены вех» как нельзя лучше отражает, например, одно «письмо читателя», подписанного «Рабочий», опубликованное в этом журнале в 1921 году:

Настоящим письмом, прежде всего, приветствую вас как рабочий, и шлю вам благие пожелания на успехи вашего трудного дела, а главное, чтобы стойко бороться за право русского народа против контрреволюционной интеллигентской эмиграции. Долго и много думал я и никак не мог найти причину, почему столь много славных русских интеллигентских сил стало на сторону русской контрреволюции... Почему? Только потому, что революцию пролетариат совершил не по их указке. Сколько обидно и больно было за ренегатство русской интеллигенции, столько и

отрадно видеть часть интеллигенции, осознавшей свои ошибки, сделанные против русской революции, что эта часть интеллигенции честно и открыто заявила об этом и даже создала открыто журнал «Смена вех»...

Остаюсь с глубоким почтением к Вам.

*Рабочий.*⁴⁴

Главным редактором газеты «Накануне», которая по сути дела являлась одним из рупоров «сменовеховства», был Ю. В. Ключников (он вернулся в Россию с Толстым одним пароходом), который печатался и в России. Сам же Толстой стал активным сотрудником этой газеты и редактором ее еженедельного литературного приложения, где он публиковал писателей из Советской России — М. Зощенко, С. Есенина, К. Федина, М. Булгакова и многих других.

За месяц до приезда Цветаевой в Берлин на страницах «Накануне» разразился первый политический скандал, связанный с именем Толстого. Председатель эмигрантского Комитета помощи писателям Н. В. Чайковский обратился к Толстому с открытым письмом, которое было помещено на второй странице 17-го номера газеты:

*Милостивый Государь
граф Алексей Николаевич!*

Обращаюсь к Вам с этим письмом по поручению Исполнительного Бюро Комитета Помощи Русским Писателям и Ученым во Франции. Настоящим прошу Вас, как члена Комитета, объяснить нам, как следует понимать Ваше сотрудничество в органе «Накануне», заведомо издающемся на большевистские деньги и открыто ставя-

⁴³ И. Эренбург, Люди, годы, жизнь, II, стр. 26.

⁴⁴ Цитируется по "Зеркало Загадок", Берлин 1997, 6, стр. 30.

щем себе задачу бороться с русской эмиграцией, к которой и мы все, члены Комитета, вместе с Вами, до сих пор себя причисляли. Вам известно, конечно, что Комитет Помощи Русским Писателям и Ученым по уставу имеет своей целью «помогать жертвам событий в России», то есть большевистского террора. Следует ли ему понимать занятую Вами в настоящее время позицию, как открытый переход Ваш под флаг той самозванной власти, которой эти жертвы террора в России обязаны всеми своими муками, лишениями и унижениями? В ожидании ответа —

С почтением

Н. В. Чайковский.⁴⁵

Ответ Толстого был помещен в этом же номере газеты, на той же странице — под письмом Чайковского. Толстой заявлял, что газета издается на деньги частного лица, «не имеющего никакой связи с нынешним правительством России. «Накануне» есть газета свободная, редакция состоит из членов группы «Смены Вех».

«Я представляю из себя натуральный тип русского эмигранта, — писал Алексей Толстой, — то есть человека, проделавшего весь скорбный путь хождения по мукам. В эпоху великой борьбы белых и красных — я был на стороне белых. Я ненавидел большевиков физически. Я считал их разорителями русского государства, причиной всех бед. В эти года погибли два моих родных брата, один зарублен, другой умер от ран, расстреляны двое моих дядьев, восемь человек моих родных умерло от голода и болезней. Я сам с семьей страдал ужасно. Мне было за что ненавидеть.

Красные одолели, междоусобная война кончилась, но мы, русские эмигранты в Париже, все еще продолжали жить инерцией бывшей борьбы. Мы питались дикими слухами и фантастическими надеждами. Каждый день мы

определяли новый срок, когда большевики должны пасть, — были несомненны признаки их конца... Мы бредили наяву, в трамваях, на улицах... Мы были призраками, бродящими по великому городу...

Затем наступили два события, которые — одним подбавили жару в их надеждах на падение большевиков, на других повлияли совсем по иному. Это была война с Польшей и голод в России.

Я, в числе многих, многих других, не мог сочувствовать полякам, завоевавшим русскую землю, не мог пожелать установления границ 72 года, или отдачи полякам Смоленска, который 400 лет тому назад, точно в такой же обстановке, защищал воевода Шеин от польских войск, явившихся так же по русскому зову под стены русского города. Всей своей кровью, я желал победы красным войскам. Какое противоречие... Приспело новое испытание: апокалиптические времена русского голода. Россия вымирала. Кто был виноват? Не все ли равно, кто виноват, когда детские трупики сваливаются, как штабели дров, у железнодорожных станций... Все, все мы скопом, соборно, извечно виноваты.⁴⁶

Далее Толстой назвал три пути сохранения русской государственности, из которых два первых он отвергал. Один из них — собрать армию иностранцев и вместе с остатками белой армии вторгнуться в Россию. Кроме того, можно брать большевиков измором и таким образом принимать участие в нескончаемой жестокой бойне, спровоцированной революцией. Третий путь — единственный возможный в сложившейся ситуации — это признать реальность существования правительства России. «И совесть меня зовет не лезть в под-

⁴⁵ «Накануне», 14 апреля 1922 года.

⁴⁶ Там же.

вал, а ехать в Россию, и хоть гвоздик собственный, но вколотить в истрепанный бурями русский корабль. По примеру Петра». ⁴⁷

Спустя две недели после приезда Цветаевой в Берлин здесь произошло второе крупное столкновение на страницах печати. Повод для него на этот раз подал сам Алексей Толстой, который в литературном приложении к «Накануне» напечатал обращенное к нему из Петрограда письмо Корнея Чуковского. Чуковский нелестно отозвался о нескольких писателях «Дома искусств» в Петрограде (в частности, Евгения Замятина он определил «чистоплюем»), назвал их «внутренними» эмигрантами, бесконечно заседающими и получающими пайки. По его мнению, они художественным творчеством не занимались, книг не писали, однако советскую власть «поругивали».

О петроградском Доме искусств уже говорилось выше. Он был основан по инициативе М. Горького в декабре 1919 года. Среди живших здесь были известные в будущем писатели О. Форш, М. Шагинян, А. Грин, Н. Тихонов, Вс. Иванов, К. Федин, В. Рождественский. Горький организовал для молодых писателей семинары по теории прозы и стихотворения. Блок приходил сюда читать лекции по западной литературе, а Корней Чуковский неоднократно выступал с докладами.

Публикация письма Чуковского была расценена в широких эмигрантских кругах как провокация и вызвала негодование как против самого автора, так и против опубликовавшего его получателя.

На этот раз откликнулась Цветаева, только что приехавшая из России, где еще и года не прошло после расстрела Николая Гумилева. Гумилев, как известно, был расстрелян 25 августа 1921 года по необоснованному обвинению в контрреволюционном заговоре. 7 июня в «Голосе России» было опубликовано открытое письмо Цветаевой Толстому.

Открытое письмо А. Н. Толстому

Алексей Николаевич!

Передо мной в №6 Приложения к газете «Накануне» письмо к Вам Чуковского.

Если бы Вы не редактировали этой газеты, я бы приняла свершившееся за дурную услугу кого-либо из Ваших друзей.

Но вы редактор, и предположение отпадает.

Остаются две возможности: или письмо оглашено Вами по просьбе самого Чуковского, или же Вы это сделали по своей воле и без его ведома.

«В 1919 году я основал «Дом Искусств»; устроил студию (вместе с Николаем Гумилевым), устроил публичные лекции, привлек Горького, Блока, Сологуба, Ахматову, А. Бенуа, Добужинского, устроил общежитие на 56 человек, библиотеку и т. д. И вижу теперь, что создал клоаку. Все сплетничают, ненавидят друг друга, интригуют, бездельничают, — эмигранты, эмигранты! Дармоедствовать какому-нибудь Волынскому или Чудовскому очень легко: они получают пайки, заседают, *ничего не пишут*, и поругивают Советскую власть...» — «... Нет Толстой, Вы должны вернуться сюда гордо, с ясной душой. Вся эта мразь недостойна того, чтобы Вы перед ней извинялись или чувствовали себя виноватым». (*Курсив, вероятно, Чуковского.*)

Если Вы оглашаете эти строки по дружбе к Чуковскому (просьбе его) — то поступок Чуковского ясен: не может он не знать, что «Накануне» продается на

⁴⁷ Там же.

всех углах Москвы и Петербурга! — Менее ясны Вы, выворачивающий такую помойную яму. Так служить — подводить.

Обратимся ко второму случаю: Вы оглашаете письмо вне давления. Но у всякого поступка есть цель. Не вредить же тем, что четыре года сряду та-скающим на своей спине отнюдь не аллегорические тяжести, вроде совести, неудовлетворенной гражданственности и пр., а просто: сначала мороженую картошку, потом не мороженую, сначала черную муку, потом серую...

Перечитываю — и:

«Спасибо Вам за дивный подарок — «Любовь книга золотая». — Вы должно быть сами понимаете, какая это полновесная, породистая, бессмертно-поэтическая вещь. Только Вы один умеете писать, что и смешно и поэтично. А полновесная вещь — вот как дети бывают удачно-рожденные: поднимаешь его, а он — ой, ой какой тяжелый, три года (?), а такой мясовитый. И глупы все — поэтически, нежно-глупы. Воображаю, какой успех имеет она на сцене. Пришлите мне рецензии, я переведу их и дам в «Литературные записки» (журнал Дома Литераторов) — пускай вся Россия знает о Ваших успехах».

Но желая поделиться радостью Вашими Западными друзьями, Вы могли бы ограничиться этим отрывком.

Или Вы на самом деле трехлетний ребенок, не подозревающий ни о существовании в России ГПУ (вчерашнее ЧК), ни о зависимости всех советских граждан от этого ГПУ, ни о закрытии «Летописи Дома Литераторов», ни о многом, многом другом...

Допустим, что одному из названных лиц после четырех с половиной лет «ничего-не-деланья» (от него, кста-

ти, умер Блок) захочется на волю, — какую роль в его отъезде сыграет Ваше накануневское письмо?

Новая Экономическая Политика, которая очевидно является для Вас обетованною землею, меньше всего занята вопросами этики: справедливости к врагу, пощады к врагу, благородства к врагу.

Цветаева назвала в этом письме только одну жертву (поэта) большевистского режима — Александра Блока. Однако вероятно подразумевала и гибель Гумилева, случившуюся в том же месяце — в августе 1921-го. «Может быть, та самая коса, которая скосила Блока, — писал Э. Голлербах, — рукояткой своей ударила насмерть Гумилева; может быть, смертный час Блока... рикошетом убил Гумилева». Смерть двух поэтов произвела на современников неизгладимое впечатление и воспринималась как предзнаменование «последнего катаклизма». Именно тогда Мандельштам написал безысходно трагическое стихотворение «Концерт на вокзале»:

На звучный пир в элизиум туманный
Торжественно уносится вагон:
Павлиний крик и рокот фортепьяный.
Я опоздал. Мне страшно. Это — сон.

Письмо Чуковского и факт его публикации настолько поразили Цветаеву, что она заключила свое обращение следующими словами:

Алексей Николаевич, есть над личными дружбами, частными письмами, литературными тщеславиями — круговая порука ремесла, круговая порука человечности.

За пять минут до моего отъезда из России (11 мая сего года) ко мне приходит человек: коммунист, шапочно-

знакомый, знавший меня только по стихам: «С вами в вагоне едет чекист. Не говорите лишнего.

Жму руку ему и не жму руки Вам.

Марина Цветаева.⁴⁸

Было бы неверным оставить это берлинское столкновение Цветаевой и Толстого без комментария. Цветаева, только что приехавшая из России, и зная ситуацию там, разумеется была права, когда указала, что публикация письма Чуковского могла бы навредить многим членам петроградского Дома Искусств.

И все же, просматривая эмигрантские газеты 1920 — 1923 годов, понимаешь насколько противоречивый и неоднозначный образ советской республики мог сложиться у читателя в Западной Европе. В Берлине активно работала целая пропагандистская сеть, пытавшаяся представить жизнь при Советах в благоприятном свете. Не случайно, например, замечание Цветаевой: «Новая Экономическая Политика, которая очевидно является для Вас обетованною землею».

Нельзя исключать, что Толстой в 1922 году действительно возлагал надежды на НЭП и надеялся, что времена военного коммунизма были лишь страшным эпизодом, ушедшим в прошлое. Вместе с тем, и лагерь противников новой России — а в нем немало было монархистов-черносотенцев — не мог не вызывать раздражения писателя. Наконец, нельзя забывать о неоднозначности личности самого Толстого. Трудно не заметить параллели, фамильной черты. Граф Лев Николаевич Толстой ушел из дома, а до этого пахал, занимался крестьянской работой. А граф Алексей Николаевич Толстой уехал из Берлина в республику рабочих и крестьян. Сказанное, по крайней мере, относится к А. Н. Толстому в 1922 г.

В то же время в своей независимой позе оппозиции в оппозиции, а именно так выглядел просоветский граф — он заходил нередко слишком далеко. Так, по свидетельству Берберовой, Толстой печатал в Берлине на машинке научно-фантастический роман «Аэлита», не скрывая, что он предназначался для «Госиздата». Встретив на улице Ходасевича, он возмутился его поношенным костюмом и предложил ему сшить новый у своего портного на средства газеты «Накануне».

Интуиция не обманула Толстого. Он был чуть ли не единственным из возвращенцев — известных писателей, который пришелся ко двору новому режиму. Видимо, диктатуре пролетариата необходим был собственный граф. Граф стал депутатом Верховного совета. В Детском селе, где он поселился с семьей в конце двадцатых годов, над дверью особняка красовалась табличка: «Гр. Толстой», двойной смысл которой был очевиден. Сокращенное «гр.» читалось как гражданин и одновременно намекало на его графство. Эту двойственность подтверждала и старая экономка. На вопрос, дома ли Толстой, она по телефону, в разгар сталинского террора, бесхитростно отвечала: «Их сиятельство в Райком ушли».

Когда Цветаева вернулась из эмиграции, то в Москве, как известно, ей не нашлось места. «Мы Москву — задарили. А она меня вышвыривает: извергает», — писала она в одном из писем 31 августа 1940 года. Толстой также жил тогда в Москве — в кругу другой семьи, в роскошном особняке.

Но это уже московская история. Вернемся в Берлин двадцатых годов.

⁴⁸ Письмо цитируется по книге М. Разумовской, стр. 359 -361.

IX

«Золотое сердце Эренбурга»

*Вам, чья дружба мне далась дороже любой вражды
и чья вражда мне дороже любой дружбы.*

*Дарственная надпись Цветаевой Эренбургу
на книге «Разлука» 29 мая 1922 года*

Илья Эренбург, также, как в свое время Волошин, был не только старым и добрым другом семьи Цветаевых-Эфрон, но гением-хранителем их семьи. Собственно, он соединил Марину и Сергея, потерявших друг друга. В 1921 году, уезжая в заграничную командировку, он обещал Марине разыскать Сергея, передать фотографии и письма и сдержал слово.

В Берлине Эренбург уступил Цветаевой с дочерью свой кабинет, в котором они жили до приезда Эфрона, а затем нашел для них две комнаты в пансионе на Траутенауштрассе 9. Творческая судьба Марины его также занимала — он сразу же ввел ее в литературную среду, познакомил с берлинскими издателями, в частности со своим другом А. Вишняком, владельцем издательства «Геликон», в котором она по рекомендации Эренбурга публиковалась еще до приезда в Берлин.

«Отношение Эренбурга к Цветаевой было поистине товарищеским, действенным, ничего не требующим

взамен, исполненным настоящей заботливости и удивительной мягкости», — писала А. Эфрон. Она вспоминает также, как в 1921 написала об Эренбурге в своей тетради: «Золотое сердце Эренбурга».

В юности Эренбург был участником революционного движения и входил в одну с Бухариным подпольную организацию. Этот факт сыграл немалую роль в его дальнейшей судьбе. Именно Бухарин по старой дружбе помог Эренбургу получить от Наркомпроса «художественную командировку» в 1921 году и выехать за границу на долгие годы, не ссорясь при этом с новой властью.

Вначале Эренбург с женой Любовью Михайловной поселились на Траутенаушрассе 9, в том самом пансионе и даже в тех же комнатах, где он впоследствии разместил семью Цветаевых-Эфрон. Сам он переехал в пансион на Прагерплатц, где 15 мая 1822 года и приютил у себя Цветаеву с Алей, только что приехавших из России. Таким образом, берлинские адреса Цветаевых-Эфрон и Эренбурга полностью совпадают.

В Берлине Эренбург был известен как один из самых плодовитых беллетристов. Сам же он считал, что стал профессиональным писателем после написания романа «Похождение Хулио Хуренито», опубликованного в 1922 году берлинским издательством «Геликон». Журнал «Новая русская книга» отметил появление этого романа как литературное событие. Редактор А. С. Яценко на страницах своего журнала опубликовал статью под названием «Литература за пять истекших лет». В ней он в частности писал об эволюции творчества Эренбурга:

И. Эренбург был известен до сих пор как поэт, хороший, но не первоклассный, как писатель талантливых и художественных корреспонденций с французского фронта войны. Впервые как беллетрист-романист он выступил в Берлине в 1922 году со своим сатирическим романом

«Похождение Хулио Хуренито». Можно разное оценивать художественные и жизненные воззрения Эренбурга, и мы лично не принадлежим к сторонникам его пессимистического и отравленного отношения к жизни, его склонности к изображению гнусных его сторон, но нельзя отрицать, что его роман — злой, саркастический, — полон остроумия и часто неотразимой иронии. И по стилю и по тону Эренбург не подражает никому из наших писателей. Он самобытен, «сам по себе». Оригинален, своеобразен, интересен он и в двух книгах рассказов, «Неправдоподобные истории» и «Тринадцать трубок». В конце 1922 года начался печатанием в московской «Красной нови» его роман «Жизнь и гибель Николая Курбова». О нем, конечно, судить еще рано... Эренбург очень современен. Темы его современны и современен самый стиль его, лапидарный, отрывистый, футуристический.⁴⁹

Роман «Хулио Хуренито» был переведен на немецкий, а затем — на французский и на другие языки. «Люди, годы, жизнь» — один из последних романов Эренбурга — выдающееся произведение мемуарного жанра двадцатого века. «Многие из моих сверстников оказались под колесами времени, — писал он. — Я выжил — не потому, что был сильнее или прозорливее, а потому, что бывают времена, когда судьба человека напоминает не разыгранную по всем правилам шахматную партию, но лотерею».⁵⁰

В отличие от многих мемуаристов, рассказывающих в основном о русском Берлине, он повествует о жизни города как бы изнутри — для него немцы — не призрачная нация, среди которых эмигрантам приходилось «физически существовать». Взгляд профессионального политика и публициста останавливается на приметах прошедшей войны, за которыми угадывались уже ростки будущей трагедии. Первая мировая война —

это катастрофа, которая пытается укрыться видимостью налаженной жизни: «Протезы инвалидов не стучали, а пустые рукава были заколоты булавками. Люди с лицами, обожженными огнеметами, носили большие черные очки. Проходя по улицам столицы, проигранная война не забывала о камуфляже».

«В Берлине 1921 года все казалось иллюзорным, — писал Эренбург. — На фасадах домов по-прежнему каменели большегрудые валькирии. Лифты работали; но в квартирах было холодно и голодно. Кондуктор вежливо помогал супруге тайного советника выйти из трамвая. Маршруты трамваев были неизменными, но никто не знал маршрута истории».⁵¹

Эренбург рассказывает, что на каждом шагу слышна была русская речь, и многие эмигранты не понимали, как они оказались в эмиграции — судьбы миллионов людей решила случайность. Среди литераторов повсюду возникали споры о возможности творить вне России и вне национальной почвы, и об особой исторической миссии России, непредсказуемости ее, о «загнивающем» Западе. «Скифы», «евразийцы», «сменовеховцы» сходились на одном, — писал Эренбург, — гнилому, умирающему Западу противопоставляли Россию. Эти обличения Европы были своеобразным отголоском давних суждений славянофилов...

Европа для меня была не кладбищем, а полем битвы, порой милым, порой немилым: такой я ее видел юношей в Париже, такой нашел в тревожном Берлине 1922 года».⁵²

Эренбург рассказывает о том, как впервые в Москве познакомился с Цветаевой, когда ей было

⁴⁹ НРК, 1922, 11, 12, стр. 3.

⁵⁰ И. Эренбург, I, стр. 6.

⁵¹ Эренбург, II, стр. 15.

⁵² И. Эренбург, II, стр. 41, 43.

двадцать пять лет: «В ней было сочетание надменности и растерянности; осанка была горделивой — голова, откинута назад, с очень высоким лбом; а растерянность выдавали глаза: большие, беспомощные, как будто невидящие».

Дружба Цветаевой и Эренбурга была «взаимоне-проницаемой» (А. Эфрон) — в отношении к творчеству они были чужды друг другу. Для Эренбурга искусство Цветаевой часто было позой и бутафорией, а отношения с поэзией мучительны и сложны. «Дороги у нас были разные, — писал он, — и, кажется, мы ни разу не встретились ни на одном из тех перекрестков, где человек, в действительности или только в своих иллюзиях, выбирает себе дорогу. Но есть в поэтической судьбе Цветаевой нечто мне очень близкое — постоянные сомнения в правах искусства и одновременно невозможность от него отойти... Одиночество было для нее не программой, а проклятием; оно было тесно связано с тем единственным другом Марины, о котором она сказала: «Сей человек был стол...».⁵³

Когда Цветаева в 1939 году вернулась в Москву, то безусловно рассчитывала на поддержку друзей. Однако даже столь близкий ей Эренбург избегал встреч с ней. Деньги, которые Цветаева попросила у Эренбурга, он передал ей через гувернантку. Цветаева шла домой пешком, держа конверт с деньгами в руке, а дома плакала над этим конвертом — свидетельством унижения, одиночества и краха последних иллюзий.

Однако впоследствии, когда вдруг появилось много мнимых друзей у Цветаевой, именно Эренбург нашел в себе мужество признаться, что в самые трагические ее дни, незадолго до гибели, он во имя спасения собственной свободы и жизни, отвернулся от нее. Ариадна Эфрон отметила, что Эренбург «первый заговорил о ней в печати». «Но, кажется, нет в моих воспомина-

ниях более трагического образа, чем Марина», — писал Эренбург. Казалось, этот образ преследовал его, не давал покоя: «От некоторых строк Цветаевой я не могу освободиться — они засели в памяти на всю жизнь».

Он вспоминает одно из них, посвященное будущим ее похоронам: «По улицам оставленной Москвы поеду я, и побредете вы, и не один дорогою отстанет, и первый ком о крышку гроба грянет, и наконец-то будет разрешен себялюбивый, одинокий сон... Прости, Господь, погибшей от гордыни новопреставленной болярине Марине...». ⁵⁴

⁵³ И. Эренбург, I, стр. 379.

⁵⁴ И. Эренбург, I, стр. 380.

ЧАСТЬ II

**«ФЛОРЕНТИЙСКИЕ
НОЧИ»**

«Поступь легкая моя...»

*Недаром, недаром черкесская талья
И тесный ременный кушак.*

М. Цветаева (1920)

«Моя мать, Марина Ивановна Цветаева, — вспоминала Ариадна Эфрон, была невелика ростом — 163 см, с фигурой египетского мальчика — широкоплеча, узкобедря, тонка в талии...

Строгая, стройная осанка была у нее: даже склоняясь над письменным столом, она хранила «стальную выправку хребта»¹.

На первый взгляд могло показаться, что она была равнодушна к одежде, однако в манере одеваться заметен был особый стиль, как отметил один из современников, «вне моды, но не лишенный своей элегантности и красоты». Накануне отъезда в Германию она носила зеленое платье из шинельной ткани, перепоясанное сережиным офицерским ремнем. На плече красовалась офицерская сумка для полевого бинокля, тоже сережина. С этой сумкой она приехала в Берлин и рассталась с ней по настоянию Эренбурга лишь на третий день своего пребывания в немецкой столице. В Берлине она купила себе платье синего цвета немецкого крестьянского стиля («бауэрнкляйд»). Платье с обтянутым

лифом и широкой сборчатой юбкой очень ей шло. Она его сохранила на всю жизнь и надевала каждое лето.

Платье запомнилось Андрею Белому. Однажды он сказал ей: «... Мне так хочется увидеть вас издали, синей точкой на белом шоссе — так хорошо, что вы носите синее, какая в этом благодать! — сначала точкой синей, потом тенью синей, такой же синей, как ваша собственная, вашей же тенью, длинной утренней тенью, вставшей с земли и на меня идущей... Знаете, синяя тень, напосенная небесной лазурью...» (Эссе «Пленный дух».)

К платью деревенской пастушки подходили горные полуботинки на толстой подошве с кожаными языками, прикрывающими шнуровку. В таких ботинках она чувствовала себя, по ее собственному выражению, «твердообутой». «Если есть деньги, — просила она художницу Л. Е. Чирикову в письме от 3-го нояб-ря, 1922 года, — купите мне башмаки (Beugschuhe, с языком!) сразу, сколько бы ни стоили. Деньги (германские) перешлю в течение недели». Отметим, что женщины в двадцатых годах шеголяли в ажурных чулках и в туфельках на тонких каблучках и носили легкие платья из вуали и кисеи, согласно моде.

Современники отмечали в Цветаевой любовь, даже страсть к длительным пешеходным прогулкам, а также необыкновенно легкую ее походку. Этой своей летающей «поступи» она посвятила стихи:

Поступь легкая моя,
Чистой совести примета —
Поступь легкая моя,
Песня звонкая моя.

На руках ее всегда были широкие серебряные браслеты под цвет ее серебрино-пепельных волос. «...Отродясь люблю серебро, — писала она в 1916 году, — и отродясь

55 Вспоминания о Марине Цветаевой, стр. 143.

люблю огромные кольца, сейчас... пуше всех колец — строки: «Ты хладно жмешь к моим губам / Свои серебряные кольца...»⁵⁶. Большинство современников-эмигрантов с раздражением отзывались и о браслетах Цветаевой, которые будто бы мешали восприятию стихов во время ее выступлений и о ее платье, усматривая в ее манере одеваться вызывающую позу и снобизм. Коллеги по перу советовали ей браслеты продать и одеться по-другому.

Находясь уже в Чехии, она с возмущением писала в Берлин Чириковой (27 апреля, 1923): «Вы верите в другой мир? Я — да. Но в грозный. Возмездия. В мир, где царствуют Умыслы. В мир, где будут судимы судьи. Это будет день моего оправдания, нет, мало: ликования! Я буду стоять и ликовать. Потому что там будут судить не по платью, которое у всех здесь лучше, чем у меня и за которое меня в жизни так ненавидели, а по сущности, которая здесь мне и мешала заняться платьем.

Но до этого дня — кто знает? — далеко, а перед глазами целая вереница людских и юридических судов, где я всегда буду неправой». Обсуждения ее одежды воспринимались болезненно и по причине безысходной бедности. «О, если бы я была богата! — в отчаянии воскликнула Цветаева в 1919 году. — Милый 19-й год, это ты научил меня этому воплю! Раньше, когда у меня было все, я и то ухитрялась давать, а сейчас, когда ни у кого ничего нет, я ничего не могу дать, кроме души...»⁵⁷.

Писатель и критик Марк Львович Слоним, один из четырех редакторов еженедельного пражского журнала «Воля России», любил Цветаеву и высоко ценил ее как поэта. Он оставил нам замечательное по своей доброжелательности и пониманию свидетельство о том, как выглядела Марина: «О красоте ее? Это было больше, чем красота! Она была легкая, стройная, у нее были замечательные глаза, сжатый, довольно большой рот, сильный овал лица, легкая походка, чудная улыбка»⁵⁸.

II

Геликон

*Была маленькая контора...
и там сидел молодой человек
поэтического облика.*

*Эренбург.
Люди, годы, жизнь*

Издательство «Геликон» возникло в Москве в 1918 году и возобновило свою деятельность в Берлине осенью 1921-го. Финансовую поддержку издательству оказал доктор медицины Юрий Борисович Штейнберг, двоюродный брат известного поэта и мецената М. О. Цетлина. 15 сентября 1921 года А. Вишняк сообщил Ященко об открытии издательства:

*Многоуважаемый Александр Семенович!
Московское литературное и художественное книго-
издательство «Геликон» честь имеет сообщить Вам о во-
зобновлении своей деятельности в Берлине. Редактором и*

⁵⁶ М. Цветаева, т. 5, стр. 209.

⁵⁷ М. Цветаева, т. 4, стр. 541.

⁵⁸ В. Лосская, Марина Цветаева в жизни, Нью-Йорк, 1992, стр. 129

Управляющим Делами книгоиздательства состоит Абрам Григорьевич Вишняк.

Вслед за сим сухим оповещением позвольте выразить Вам мою надежду повстречаться как-нибудь в ближайшем будущем, на предмет лирических и других разговоров.

Я, ежели предупредите меня накануне, в любой вечер к Вашим услугам.

Искренне Вас уважающий

А. Г. Вишняк.

Издательство «Геликон»⁵⁹ находилось недалеко от Прагерплатц. В письме к художнице Л. Е. Чириковой, написанном 16 октября 1922 года в Чехии, Цветаева сообщает адрес Вишняка: «Адрес его: Bambergerstrasse 7, угловой дом с Pragerstrasse, на окне огромная вывеска — «Геликон» — сразу в глаза бросается. Бывает он в издательстве, по-моему, около 12 1/2 дня, а потом вечером, от 5-ти до 6-ти. — Так, по крайней мере, бывало раньше»⁶⁰.

Цветаева со временем забыла точное местоположение издательств: оно находилось на углу Бамбергерштрассе и Регенбюргерштрассе (а не Прагерштрассе, как указывает она). Здание сохранилось до наших дней почти без изменений. Витрина, на которой в двадцатых годах красовалась вывеска издательства «Геликон», и поныне выходит на Бамбергерштрассе.

«Контоня его — для него — весь мир, — записала свои впечатления о конторе Вишняка десятилетняя Ариадна. — Стол, который стоит у окна с толстым стеклом и на котором разложены все издания Геликона — чужих изданий на своем столе он не терпит; три шкафа с книгами; над ними — китайский божок. За стеной, в маленькой комнатке, стучат на машинках сквозная барышня-секретарь и иногда молодой человек разбойного вида — сам себя печатающий Эренбург.

Посещают Геликона самые разнообразные личности: какой-то старый господин с часами на обрывке собачьей цепи (золотая цепочка продана), худые унылые вдовы писателей, приходящие в надежде на то, что Геликон будет выдавать им пособие за мужей; судорожно пляшущие на стуле литераторы, надеющиеся облагодетельствовать Геликона переводом своей же книги на испанский язык... Все, что никому понадобится не может, приходит (на двух ногах) и притаскивается (в портфелях) к Геликону, он старается не обидеть, но все ругаются, что он мало платит.

Геликон всегда разрываем на две части — бытом и душой. Быт — это та гирька, которая держит его на земле и без которой, ему кажется, он бы сразу оторвался ввысь, как Андрей Белый...

Когда Марина заходит в его контору, она — как та Душа, которая тревожит и отнимает покой и поднимает человека до себя, не опускаясь к нему.. Марина с Геликоном говорит, как Титан, и она ему непонятна, как жителю Востока — Северный полюс, и так же заманчива. От ее слов он чувствует, что посреди его бытовых и тяжелых дел есть просвет и что-то неповседневное. Я видала, что он к Марине тянется, как к солнцу, всем своим помятым стебельком. А между тем солнце далеко, потому что все Марино существо — это сдержанность и сжа-

⁵⁹ Дом, где располагался «Геликон», сохранился почти без изменений, так же, как и многие другие дома в этой части Бамбергерштрассе, тогда как на Прагерплатц не сохранилось ни одного довоенного строения — площадь была уничтожена во время массированных налетов авиации союзников в 1944 году, поскольку неподалеку располагались многочисленные административные учреждения национал-социалистов. Виктор Светиков, находящийся сегодня во главе издательского центра фирмы «Геликон» планирует установку мемориальной доски на Бамбергерштрассе 7.

⁶⁰ Письмо Цветаевой цитируется по книге М. Разумовской «Марина Цветаева», стр. 362

тые зубы, а сам он гибкий и мягкий, как росток горошка»⁶¹. (Может и должно показаться неправдоподобным, что эта запись сделана десятилетней девочкой, поскольку так могла писать только Марина Цветаева. Впрочем, для нас в данном случае важно само содержание записи, передающее атмосферу издательства «Геликон». Что же касается гениальности дочери Цветаевой в детстве, то о ней ходили легенды — Цветаева записывала необыкновенные суждения Али в специальный дневник.)

Это свидетельство о Вишняке интересно прежде всего потому, что о нем, и об издательстве, сыгравшем, значительную роль, как в истории русского издательского дела, так и в истории литературы, существуют лишь скудные сведения. В творческой биографии Цветаевой «Геликон» занимает особое место. В Берлине произошел первый настоящий литературный «дебют» Цветаевой в эмиграции — ко времени ее приезда весной 1922 года в «Геликоне», благодаря Эренбургу, был напечатан ее поэтический сборник «Разлука» (стихи 1921 года, обращенные к мужу, и поэма «На красном коне»). В том же году «Геликон» выпустил сборник «Ремесло»⁶². (Помимо этого, в 1921 году в парижских «Современных записках» Константин Бальмонт опубликовал подборку стихов Цветаевой, причем в своем предисловии он назвал ее одной из лучших русских поэтесс, наряду с Ахматовой.)

«Разлука» — один из лучших поэтических сборников Цветаевой сразу же после появления получил восторженные отклики. Так например, М. Слоним в своей рецензии говорил о «переломе» в творчестве Цветаевой. Интересно, что сборник «Разлука» получил одобрение как левых, так и правых эмигрантских кругов.

Все та же оперативная «Накануне» посвятила сборнику «бодрую» критическую, весьма характерную для себя по стилю статью:

Марина Цветаева — поэт суровый и жестокий. Брови ее сдвинуты, взор затуманен. Раскрываешь ее книгу: — как тесно, как жестко! Но не оторвешься — прочтешь еще и еще раз, и за недосказанными строками, — словами сквозь стиснутые зубы, — начинает чудиться то синий, то багровый свет пожара ее души.

И настезж, и настезж⁶³

Руки — две.

И навзничь! — Топчи, конный!

Чтоб дух мой, из ребер, взыграв — к Тебе, —

Не смертной женой —

Рожденный.

Это почти загадка. В шести строчках опущены три глагола. Строки нужно прочесть трижды, чтобы понять, что в этой скупой, колючей формуле — вся Марина Цветаева, что это лишь упавшие на землю угольки ее пожара. Далее — поэма. «На красном коне», такая же скупая, трудная и вдохновенная, — песня закованного в тяжкую, мучимую плоть Духа о вечной свободе.

Сей страшен союз. В черноте рва

Лежу, — а Восход светел.

О кто невесомых моих два

Крыла за плечем -

Взвесил.

⁶¹ Воспоминания о Марине Цветаевой, стр. 201.

⁶² Кроме того, в Берлине были напечатаны следующие книги Цветаевой: «Стихи к Блоку», Огоньки, 1922; «Царь-Девница», Эпоха, 1922; «Психея», Гржебин, 1923.

⁶³ Сохранена орфография газеты «Накануне» (№. 34, Берлин 1922 г).

*Немой соглядатай
Живых бурь —
Лежу — и слежу
Тени.
Доколе меня
Не умчит в лазурь
На красном коне —
Мой Гений.*

Марина Цветаева кровью и духом связана с нашими днями, — писал критик, пожелавший назвать себя «Ант.», — Она жила на студеном чердаке с маленькой дочерью, топила печь книгами, воистину, как в песне «сухою корочкой питалась» и с высоты чердака следила страшный и тяжкий путь Революции. Она осталась мужественна и сурова до конца, не обольстилась и не разочаровалась, она лишь прожила эти годы — сто мудрых лет. И, вот, скупые строки, — ее разжатые губы, — говорят:

*Башенный бой
Где-то в Кремле.
Где на земле.
Где —
Крепость моя
Кротость моя,
Доблесть моя
Святость моя!*

Марина Цветаева поэт нашей эпохи (как принято теперь говорить). Она — честна, беспощадна к себе, сурова к словам. Ее не обольстить ни лютиками ни хризантемами. Она поняла и слышит, что —

*Все небо в грохоте
Орлиных крыл...*

В заключении автор этого колоритного сочинения сообщал: «Книга «Разлука» издана превосходно, как и все издания «Геликона»⁶⁴.

В романе «Люди, годы, жизнь» Эренбург вспомнил друга своей берлинской молодости и его издательство: «Издательство, выпустившее «Хулио Хуренито», называлось поэтично — «Геликон». Горы, где обитали тогда музы не оказалось; была маленькая контора... и там сидел молодой человек поэтического облика — А. Г. Вишняк. Он сразу подкупил меня своей любовью к искусству. Он издавал советских авторов и рассорился с эмиграцией. Я подружился с ним и с его женой Верой Лазаревной; были они моими близкими друзьями, добрыми, хорошими людьми и погибли в Освенциме».

В конце романа Эренбург опять вспомнил о Вишняке: «Вишняки застряли в Париже. Мы у них часто бывали. Мы старались шутить, вспоминали прошлое — Андрея Белого, Марину, Пастернака. После войны я узнал, что немцы убили Вишняков в Освенциме»⁶⁵.

Абрам Григорьевич Вишняк — двадцатисемилетний кареглазый молодой человек, был женат и имел сына четырех лет. Как уже говорилось, он был поклонником поэзии Цветаевой, не подозревая, что войдет в историю литературы не только как издатель, но и как литературный персонаж, герой эпистолярной истории любви.

Как известно, Цветаева влюбилась в молодого издателя и написала ему девять писем между 17 июня и 9 июля 1922 года. В ответ она получила лишь одно письмо.

Вишняку не суждено будет узнать о том, что его переписка с Цветаевой станет «литературным фактом» —

⁶⁴ Газета «Накануне» за 7 мая 1922 года No. 34.

⁶⁵ И. Эренбург, II, стр. 30, 771.

он погибнет в 1943⁶⁶ году . Что же касается «Флорентийских ночей» Цветаевой, они впервые будут опубликованы на французском и итальянском языках в 1981, а на русском — в 1985 году⁶⁷.

III

«Поэзия собственных имен»

*То ли дело облегчить сердце полной исповедью!
Давно бы так, мой ангел!*

*Пушкин.
Роман в письмах*

Об истории любви Цветаевой и Вишняка долгое время почти ничего не было написано. В 1981 году итальянская переводчица и исследовательница Серене Витале привезла из Москвы переписку Цветаевой с Вишняком и опубликовала ее во Франции и Италии под названием «*Le notti fiorentine*».

«Флорентийскими ночами» назвала это произведение в эпистолярной форме дочь Цветаевой А. Эф-

⁶⁶ В этом контексте некоторые «предсказания» Цветаевой — неожиданный художественный образ, созданный ею — могут помимо воли прочитываться как пророчество. Например, в девятом письме Цветаева пишет: «Знаю, что будет час Вашей жизни (когда Вам нечем будет дышать, как зверю, задыхающемуся в собственной шкуре)» Или же: «Вспомните, что эпикурейцы из всех искусств жизни лучше всего практиковали искусство умирать. Эпикур обязывает. Будьте...» (письмо седьмое)

⁶⁷ «Новый мир», 1985, No. 8.

рон⁶⁸. Ей было известно желание матери опубликовать эти письма. В письме к А. Тесковой весной 1933 года Цветаева сообщила, что сделала «перевод своей собственной вещи на французский: девять своих собственных настоящих писем и единственное, в ответ, мужское — и послесловие... и последняя встреча с моим адресатом, пять лет спустя, в Новогоднюю ночь. Получилась цельная вещь, написанная жизнью»⁶⁹. Цветаева предлагала рукопись французским издателям, но ни один не захотел ее опубликовать⁷⁰.

Цветаева всегда оставалась верной принципу — литература — прежде всего. Отдаваясь каждой новой дружбе со свойственной ей страстностью, она, как правило, «сопровождала» эту дружбу письмами, придавая им художественный облик, уже заранее готовила им литературную судьбу. (Характерна «лирическая» датировка писем к Вишняку. Например, дата второго письма обозначена так: «19 июня, ночь», а в конце третьего читаем: «Рассвет июньского дня, суббота».)

«Марина — человек страстей, — признавался С. Эфрон М. Волошину в письме от декабря 1923 года — Отдаваться с головой своему урагану для нее стало необходимостью, воздухом жизни. Кто является возбудителем этого урагана — неважно... Человек выдумывается, и ураган начался. Если ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаруживается скоро, Марина предается ураганному же отчаянию... Сегодня отчаяние, завтра восторг, любовь, отдавание себя головой, и через день снова отчаяние. И это все при зорком, холодном (пожалуй вольтеровски-циничном) уме... Все заносится в книгу. Все спокойно, математически отливается в формулу»⁷¹.

В 1913 году Цветаева в (предисловии к сборнику «Из двух книг») сделала запись, предварив его эпиграфом:

Для того я (в проявленном сила)
Все родное на суд отдаю,
Чтобы молодость вечно хранила
Беспокойную юность мою.
«Волшебный фонарь»

«Все это было. Мои стихи — дневник, моя поэзия — поэзия собственных имен. Все мы пройдем. Через пятьдесят лет все мы будем в земле. Будут новые лица под вечным небом. И мне хочется крикнуть всем еще живым:

Пишите, пишите больше! Закрепляйте каждое мгновение, каждый жест, каждый вздох! Но не только жест — и форму руки, его кинувшей: не только вздох — и вырез губ, с которых он, легкий, слетел.

Не презирайте «внешнего!» Цвет ваших глаз так же важен, как их выражение; обивка дивана — не менее слов, на нем сказанных. Записывайте точнее! Нет ничего не важного! Говорите о своей комнате: высока она, или низка, и сколько в ней окон, и какие на них занавески, и есть ли ковер, и какие на нем цветы?... Все это будет телом вашей оставленной в огромном мире бедной, бедной души».

Эпистолярный жанр в России в сравнении с Западом возник поздно — на рубеже 18-го — 19-го веков. Литературная традиция (Карамзин и его «Письма русского путешественника», Ф. Глинка, написавший «Письма

⁶⁸ Из воспоминаний современника, записанных В. Лосской в книге «Марина Цветаева в жизни»: «С Алей она говорила обо всем. Рассказывала ей про своих любовников и про всю свою жизнь», стр. 141.

⁶⁹ Марина Цветаева, т. 5, стр. 710.

⁷⁰ С письмами Рильке Цветаева распорядилась иначе: она завещала опубликовать переписку с Рильке спустя 50 лет после смерти поэта в январе 1977 года. Переписка публиковалась после 1977 года в подлиннике — на немецком языке, а также на многих других языках. В русском переводе она впервые была опубликована в журнале «Дружба народов», 1987, No. 6 — 9.

⁷¹ Марина Цветаева, Неизданное, М., 1999, стр. 306.

русского офицера») опережала традицию бытовую и влияла на нее, переводя постепенно бытовой эпистолярный жанр в русло русскоязычия (представители дворянского сословия стали писать письма на родном языке лишь в 1830-х годах, тогда как до этого переписка осуществлялась по-французски.) Очень скоро письменные послания прочно вошли в беллетристику, став «литературным фактом» (литературное понятие, введенное Тыняновым). В. Одоевский, А. Бестужев-Марлинский — одни из первых русских писателей, чьи повести и романы состояли из писем. Что же касается Пушкина, то одно из своих поздних прозаических произведений он, как известно, назвал: «Роман в письмах».

Русская литературная традиция женских писем в 19-м веке еще не сложилась. Но русские девушки — читательницы французских романов в письмах — испытывая страх оказаться осмеянными уже пишут — и становятся персонажами художественных произведений: «Я к вам пишу — чего же боле?» И далее: «Она зари не замечает, / Сидит с поникшею главой / И на письмо не напирает / Своей печати вырезной».

В то время как пушкинская Татьяна не решалась письмо свое к Онегину запечатать, французская писательница Жюли де Леспинас (1732-1776) свои письма к Аламберу, ошеломляющие откровенностью в описании ее страстной любви, не только запечатывала, но и печатала.

Здесь мы невольно затрагиваем социальную тему положения женщины в русском обществе, где «быть женщиной означало занимать некое зависимое положение в обществе, бесправное, незащищенное»⁷². Берковский в связи с этим своим высказыванием о невозможности для русской женщины строить собственную судьбу, приводит стихи Тютчева, обращенные к Денисьевой:

Толпа вошла, толпа вломилась
В святилище души твоей,
И ты невольно постыдилась
И тайн и жертв, доступных ей.

Цветаеву, для которой письменное послание с ранней юности прежде всего было делом литературы, интересовали женские письма с их «тайным жаром» любви и страстным желанием самовыражения. «Послушайте, я правдива /До вызова, до тоски...» — писала она о себе.

В своих «эпистолиях» она следовала, по ее же собственному признанию, европейской литературной традиции, где женские письма с «обнажением души» неоднократно публиковались еще в 18 -м веке.

Одной из своих предшественниц Цветаева считала уже упомянутую Жюли де Леспинас. В письме А. Тесковой (9 сентября 1928 года) Цветаева писала: «Читали ли Вы, дорогая Анна Антоновна, когда-нибудь письма M-lle de Lespinasse (18 век)? Если нет — позвольте мне Вам их подарить. Что я перед этой Liebende (Если бы не писала стихов, была бы ею — и пуще! И, может быть, я все-таки — Geliebte, только не-людей!)»⁷³.

Наибольший интерес представляла для Цветаевой переписка Беттины фон Арним и в частности ее «Переписка Гете с ребенком», изданная писательницей в 1835 году. По мнению Цветаевой, Беттина фон Арним, опубликовавшая эту переписку, была безусловно права, «права безвозвратно и неповторимо по тому жестокому закону исключительности, в которую, родясь, вышагнула... Беттина, по ее собственному за-

⁷² Н. Берковский, О русской литературе, Л., 1985, стр. 195.

⁷³ Цветаева М., Письма к А. Тесковой, Прага, 1969, стр. 66.

явлению, ставит ему памятник. Памятник старцу, снизошедшему к ребенку, тому Гете, которого вызвала она, создала она, знала только она» («Несколько писем Райнер-Мариа Рильке»).

Беттина фон Арним, урожденная Брентано, писательница-романтик, сестра Клеменса Брентано. При жизни она издала четыре «переписки», как их назвала Цветаева «знаменитые Brief — wechsel» Беттины Брентано». В 1840 году Беттина фон Арним издала переписку с подругой юности поэтессой Каролиной фон Гюндероде, покончившей с собой из-за неразделенной любви — двадцати шести лет она бросилась в Рейн. Спустя два года после смерти Клеменса Брентано в 1844 году Беттина издала переписку с ним.

В домашней библиотеке Цветаевой в свое время была книга в роскошном переплете под названием «Весенний венок Клеменсу Брентано», а также книга «Гюндероде», на которой она сделала надпись «*Magina Zwetaeff, Gourzuff, 1911*». Кроме того, Беттина фон Арним издала книгу под названием «Илиус Памфилиус и Амброзия» — эта была ее переписка с поэтом и публицистом Филиппом Натузиусом. В свое время эти книги были Цветаевой прочитаны, и на полях каждой из них были ее пометы и на русском, и на немецком языках. Впоследствии эти книги «участвовали» в ее переписке с Рильке⁷⁴.

Называя переписку Цветаевой с Вишняком «Флорентийские ночи», ее дочь Ариадна, вероятно, исходила из того факта, что Вишняк однажды принес Цветаевой для перевода новеллу Генриха Гейне «Флорентийские ночи», хотя вполне возможно, что у нее были и другие причины для принятия такого решения.

IV

Любовь к Генриху Гейне

*Хочешь не хочешь — дам тебе знак!
Спор наш не кончен — а только начат!*

*М. Цветаева.
Памяти Г. Гейне*

Вот как начинается Цветаева свой рассказ (вернее, так начинается первое письмо Цветаевой к Вишняку, датированное 17-м июня 19...): «Мой дорогой. Книга, которая благодаря Вам вошла в мою жизнь, не случайность. Когда я прочла на обложке его имя, то почувствовала, будто в мою голову вцепились чьи-то когти».

Когти здесь, кажется, относятся не к звериной (или животной) сущности Вишняка, о которой Цветаева сообщает в этом же письме («Вы чувствующий не душой, а подобно волку, кончиком морды»), а к присутствию в их с Вишняком отношениях некоей третьей силы, точно угадывающей ее — Цветаевой — сущность. Вишняк, по ее убеждению, на самом деле обладает зве-

⁷⁴ Переписка Цветаевой и Рильке, длившаяся всего несколько месяцев 1926 года вплоть до смерти Рильке, станет уникальным эпизодом в истории русской и немецкой литературы. Ей специально посвящена книга «Небесная арка», Санкт-Петербург, 1992. Издание подготовил Константин Азадовский.

риным чутьем, «инстинктом зверя», он «учуял» ее «тайный брак», предложив ей именно этого автора для перевода: «Бедная я, которая возле Вас чувствует себя околоченной и словно бы наглухо замороженной (за-вороженной)». «Временами Вы безошибочны», — пишет она. «Я не преувеличиваю Вас, все это находится в пределах темного (у которого нет пределов: сама беспредельность)».

«Его имя», прочитанное ею на обложке книги и гениально угаданное «мастером своего дела», постигающим души, Вишняком — Генрих Гейне.

О своей любви к Гейне Цветаева говорила неоднократно. В 1919 году она записала в тетрадь: «Гейне! Книгу, которую я бы написала. И без архивов, вне роскоши личного проникновения, просто — с глазу на глаз с шестью томами ужаснейшего немецкого издания конца восьмидесятых годов... Гейне всегда покрывает всякое событие моей жизни и не потому, что я (событие, жизнь) слаба — он силен»⁷⁵. Каждая девушка, говорит Цветаева, выбирает себе героя — Байрона, Зигфрида или Орфея. «Да и я не лучше — после всех живых евреев — Гейне — нежно люблю, — писала она О. Е. Черновой-Колбасиной 12 апреля 1925 года, — насмешливо люблю — мой союзник во всех высотах и низинах, если таковые есть. Ему посвящаю то, что сейчас пишу»⁷⁶.

Цветаева посвятила Гейне поэму «Крысолов» с любовью, одновременно нежной и насмешливой. Она опиралась на стихотворение Гейне «Бродячие крысы» с его сатирой, предчувствием социальной катастрофы и сознанием, что единственным прибежищем для поэта в этом мире является искусство. Именно у Гейне Цветаева нашла «особый иронический тон в отношении крыс и обрела саму мифологему «голодных крыс-революционеров, вооруженных коммунистическим учением»⁷⁷.

В 1925 году в стихотворении «Променивши на стремя...» Цветаева вновь возвращается к Гейне. Он — один из тех поэтов (к этому вымирающему племени принадлежит и она), которые опьяняли себя песнями, подобно тому, как ночь опьянялась песней соловья:

Весен... собственным пеньем
Опьяняясь как ночь — соловьем,
Невозвратна как племя
Вымирающее (о нем

Гейне пел, — брак мой тайный:
Слаще гостя и ближе, чем брат...)
Невозвратна как Рейна
Сновиденный убийственный клад.

Новеллу Гейне «Флорентийские ночи» Цветаева хорошо знала и помнила. «Вспоминаю Гейне, — писала Цветаева в 1919 году, отождествляя автора с повествователем — который, приехав в Париж, нарочно старался, чтобы его толкнули — чтобы услышать извинение»⁷⁸.

Цветаева и в самом деле «сражена» интуицией и прозорливостью Вишняка, который так точно «угадал» ее любимого автора. Она видит в этом чуть ли не проявление сверхъестественного дара.

«Я знаю Вас, знаю Вашу породу, — пишет она Вишняку, — Вы больше в глубину, чем в высоту, это всегда будет погружение в Вас, а не подъем; я употреб-

⁷⁵ М. Цветаева, т. 4, стр. 547.

⁷⁶ Цветаева здесь имеет ввиду поэму «Крысолов», которую она тогда писала и посвятила Гейне.

⁷⁷ И. Маленкович, Судьба старинной легенды, М. 1994.

⁷⁸ М. Цветаева, т. 4, стр. 547. В новелле Гейне «Флорентийские ночи» Максимилиан: «Первую неделю пребывания в Париже я умышленно старался, чтобы меня толкали, лишь бы насладиться музыкой извинительных речей».

ляю эти слова ни з каком ином смысле, кроме как: чувство направления.

Погружение в ночь (которая мне видится лестницей — ступенькой за ступенькой, притом, что последней не будет никогда). Погружение в самую ночь. Вот почему мне так хорошо с Вами без света...»

Цветаева читает у письменного стола в маленькой комнатке на Траутенауштрассе «Флорентийские ночи». Само название ведет по лестнице образов (вверх ли, вниз ли?), причем последней ступеньки «не будет никогда». Она вспоминает, возможно, и стихи, которые Мандельштам посвятил ей в Москве в феврале 1916 года:

Не диво ль дивное, что ветроград нам снится,
Где голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное — Флоренция в Москве.

И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.

Очарованный и влюбленный мечтает о Флоренции. В том же 1916-м году Флоренция ворвалась и в московские стихи Цветаевой:

Целая радуга — в каждом случайном звуке,
И на морозе Флоренцией пахнет вдруг.

Нежно светлеют губы, и тень золоче
Возле запавших глаз. Это ночь зажгла
Этот светлейший лик, — и от темной ночи
Только одно темнеет у нас — глаза.

Может быть, в пахнувшей Флоренцией московской темной ночи 1916 года стоит искать истоки «Флорентийских ночей»? За окном — берлинская ночь или, может быть, наступает вечер. «Что вы думаете о бессмертии души? — вопрошает Гейне со страниц «Писем из Берлина». — Право, это очень большое изобретение, гораздо большее, чем порох. Что вы думаете о любви?.. — Не правда ли, она только закон притяжения? Как вам нравится Берлин? Не находите ли вы, что хотя город нов, красив и выстроен по плану, он производит несколько сухое впечатление?»

Гейне всколыхнул воспоминания не только о «московской Флоренции», но и о матери, и об ушедшем «немецком» детстве, кажущемся сейчас рождественской сказкой. И о других далеких дорогих тенях.

V

«Флорентийские ночи» Гейне

*В час предвечерья, сумрачный и странный,
Забывших песен рой во мне теснится.*

Г. Гейне.

В час предвечерья... 79

Новелла Генриха Гейне — один из последних ярких всплесков немецкой романтической прозы — написана в 1836 году. Мы напоминаем ее содержание читателю ради воссоздания того «коннотационного» пространства, в которое погрузилась Цветаева, когда переводила новеллу и одновременно писала письма Вишняку, — в надежде на самые фантастические сближения, которые, как нам известно, случаются у истинных романтиков, особенно при наступающих сумерках.

Композиционно новелла делится на две части, вернее, на две ночи, в течение которых главный герой по имени Максимилиан рассказывает умирающей от чахотки любимой своей подруге синьоре Марии «занимательные» истории, дабы, как рекомендовал доктор, «был занят ее ум»⁸⁰.

Сердце Максимилиана содрогалось всякий раз, когда он смотрел на Марию. Бледное лицо ее пробуждало в нем странное воспоминание.

Он рассказывал ей, как однажды, четырнадцатилетним подростком, совершил с родителями первое свое путешествие в глухую далекую деревню в имение матери — там стоял одноэтажный дом, который они в шутку называли «замком», с огромным старым запущенным садом. И в этом саду среди разбитых статуй, он увидел одну, которая уцелела «от злобы времени и человека». Мальчик влюбился в мраморную богиню, лежавшую в высокой траве.

Среди ночи, лунной и таинственной, он тайком пробрался в сад и, преодолев страх, поцеловал богиню «с такой страстью, с таким благоволением, с такой безнадежностью, как больше никогда не целовал в этой жизни». На следующий день семья Максимилиана уехала из деревни, однако еще целых четыре года сердце его было полно воспоминаниями. С тех пор у него возникло влечение к мраморным статуям, которое уже никогда не покидало его, и сегодня утром, глядя на умирающую подругу, он вновь ощутил непреодолимую силу этого чувства.

Максимилиан продолжает «занимать» синьору Марию, она не прерывает его. Он рассказывает, как однажды влюбился в крошку Вери через семь лет после ее смерти, когда вдруг забытый ее образ внезапно воскрес перед ним.

В другой раз он влюбился во сне в необыкновенную девушку (подобной он в действительной жизни никогда не встречал: ее лицо было «совсем однотонным, розоватым, чуть тронутым желтизной, и прозрачным, как хрусталь»), и общался с нею с полным ощущением достоверности происходящего. С этой девушкой он во сне обрuchился и вкусил целую вечность.

⁷⁹ Перевод В. Левика.

⁸⁰ Цитаты из «Флорентийских ночей» Гейне здесь и далее приводятся в переводе Н. Касаткиной.

По истечении первой ночи Максимилиан беседует с доктором о критическом состоянии синьоры Марии. «Этот сон уже совсем уподобляет ее образу смерти, — продолжал доктор. — Не правда ли, она похожа на белые маски, на гипсовые слепки, в которых мы стремимся сохранить черты усопших?» «Мне хотелось бы сохранить такой слепок с лица нашей приятельницы, — на ухо шепнул ему Максимилиан, — она и покойницей будет также хороша».

И уже откровенно потусторонний, некрофильский характер носит повествование Максимилиана умирающей подруге во вторую ночь. Он рассказывает ей историю о том, как оказался влеком неудержимой и необъяснимой силой к танцовщице, выступавшей на улицах Лондона. Собственно, семейство уличных артистов состояло из четырех персонажей: из низенькой приземистой женщины, называвшей себя матерью танцовщицы, одетой во все черное, карлика, наряженного маркизом былых времен, ученого пуделя и пятнадцатилетней девушки с классически прекрасным лицом — ее звали Лоранс.

Когда подошла очередь девушки выступить на уличной «арене», то странным своим танцем она завлела вниманием Максимилиана. Ему казалось иногда, что этим танцем она хочет поведать что-то до ужаса мучительное. Девушка делала какие-то странные, не типичные для танца движения: она сгибалась до самой земли, как будто бы ее тянуло к ней, она прислушивалась, словно внимала какому-то голосу оттуда, затем начинала дрожать, отчаянно прыгать и словно порывалась что-то с себя стряхнуть.

Через некоторое время труппа уличных актеров внезапно исчезла, но неодолимая сила (Максимилиан подчеркивает, что это была не любовь, а нечто иное) заставила его искать Лоранс. Спустя несколько лет он на-

шел ее благопо-лучной генеральской женой (остальных участников труппы, включая собаку, которую распоясовшиеся студенты избили палками до смерти, уже не было в живых).

И вот тогда Лоранс рассказала ему историю своего рождения. Она оказалась дочерью графа, который тиранил свою жену, а когда графиня впала в летаргический сон, он, решив, что она умерла, устроил ей пышные похороны. Однако, вскоре выяснилось, что она все не умерла, и к тому же, она была на сносях. Темной ночью кладбищенские воры открыли гроб графини, чтобы украсть драгоценности, и к своему ужасу увидели, что женщина жива, и у нее начались роды. Разрешившись от бремени, жена графа на самом деле умерла, и перепуганные воры вновь похоронили ее, а ребенка забрали с собой. «Несчастное дитя, похороненное еще до рождения, по всей округе носило кличку покойницкого отродья».

То, что произошло дальше, согласно великолепному рассказу Максимилиана (надо сказать — Гейне щедро одарил рассказчика своим магическим даром) можно было бы назвать кошмаром, сверхъестественным явлением, как сказал бы Борхес, «щелкой в ад» или же кратким пребыванием в аду. Итак, лежа в постели с Лоранс, в слабых отсветах каминного пламени, Максимилиан казался себе богом Плутоном, «который среди раскаленного адского пламени держит в объятиях спящую Прозерпину...»

«Помню одно — пока самые безумные мысли проносились в моей душе, странный шум достиг моего слуха. Эта была еле слышная ни с чем не соотносимая мелодия... подняв взгляд, я увидел совсем вблизи, посреди комнаты, хорошо знакомое зрелище»... Почти вся уличная труппа была в сборе, посреди комнаты. Не хватало только Лоранс, спящей пока еще в объятиях

Максимилиана. Причем, по многим приметам было очевидно, что актеры — пришельцы с того света, так что это «карикатурно-кошмарное» представление напоминало игру теней.

Между тем, Лоранс тяжело задышала, выскользнула из объятий Максимилиана и, очутившись посреди комнаты, начала танцевать с закрытыми глазами свой сольный танец под приглушенную музыку мамыши с барабаном и карлика с треугольником, точно также, как танцевала когда-то у моста Ватерлоо и на лондонских перекрестках... Эта сцена «в ночной тени уединенной комнаты» повторялась каждую ночь в течение нескольких недель, пока супруг Лоранс, старый бонапартист, не увез ее в Сицилию. С тех пор Максимилиан никогда больше не видел этой загадочной призрачной женщины.

На этом месте Максимилиан закончил свой рассказ (третьей ночи не будет), торопливо взял шляпу и вышел, не дождавшись врача и не попрощавшись, из чего можно предположить, что синьора Мария умерла. Торопливость же героя вызывает сомнения в правдивости его пристрастий — у него, кажется, не хватило духу приблизиться к телу умершей любимой женщины и удостоить ее прощального поцелуя.

Гейне умудрился и в таком «черном» жанре «подшутить» над доверчивым читателем, посмеялся «великий насмешник», как называл поэта Зигмунд Фрейд.

Это мудрое безумье!
Обезумевшая мудрость!
Вздых предсмертный, так внезапно
Превращающийся в хохот!...⁸¹

VI

«Ночные шепота»

Где образ? Я за образ дам коня!

Г. Гейне, 1823

Сюжет новеллы приведен нами насколько возможно сжато — очевидно, что прямого сюжетного сходства между произведением Гейне и Цветаевой нет. И все же доминантой обоих произведений становится идея демонического начала, погружение в ночь. Подобно умирающей слушательнице Максимилиана, адресат Цветаевой — таков созданный ею образ — «спящий красавец», изваяние, пребывающее на грани жизни и смерти. В «Письме седьмом», написанном ночью 28 июня, она и обращается к нему как пребывающему в этом состоянии полутени: «А что Вы делаете с твердой открытой верхней частью кисти, с напряженностью пальцев, с упругостью запястья? Любить то, что тепло, гладко и мягко, — невелика заслуга! Лучше уж было бы оставаться в утробе матери!»

В этом же письме она просит его взять ее с собой в свое сонное полусуществование: «Возьми меня в свой глубокий сон, я буду спокойна, возьми только мое сердце...

⁸¹ Г. Гейне «Атта Троль», перевод Н. Гумилева.

Итак, я непременно хочу — понимаешь?... я непременно хочу в какой-нибудь день увидеть тебя спящим — день, который был бы ночью, — иначе это (жажда тебя, Спящего красавца) будет меня преследовать до самого моего последнего часа». Отношения с Вишняком она назвала «недовеском» земной любви, а цикл, состоящий из восьми стихотворений, посвященных ему, составленный для последнего сборника, она озаглавила «Земные приметы».

Последнее, восьмое стихотворение этого цикла, написанное ею 31 июля 1922 года, — не что иное, как надгробная эпитафия и «недовеску» земной любви, и самому Вишняку, которого она (а заодно и себя) отправляет в Лету, реку «забвения», «слепотекущую» в царстве мертвых. Направляющиеся в это царство должны были испить из этой реки «в лепете сребротекущих ив», ради забвения:

Леты слепотекущий всхлип.
Долг твой тебе отпущен: слит
С летою, — еле-еле жив
В лепете сребротекущих ив.

Ивовый сребролетейский плеск
Плачущий... В слепотекущий склеп
Памятей — перетомилась! — спрячь
В ивовый сребролетейский плач.

На плечи — сребро-седым плащом
Старческим, сребро-сухим плющом
На плечи — перетомилась! — ляг,
Ладанный, слеполетейский мрак.

По выражению исследовательницы творчества Цветаевой Лили Фейлер, Цветаеву с самого детства мучили демоны в собственной душе⁸². Так, например, в 1934 году она писала очерк «Черт» и признавалась Вере

Буниной: «Я сейчас пишу черта, мое с ним детство, — и им греюсь, т. е. по-настоящему не замечаю, что два часа писала при открытом окне»⁸³.

Цветаева признавалась, что одним из кошмаров ее детства было видение Бога и черта в одном лице. Когда же она попыталась разделить это свое жуткое порождение фантазии и сделать выбор, то выбрала черта. Черта она ассоциировала с красным светом, огнем, жаром, мятежом и чувственной любовью, потому и своих героев она наделяла демоническими чертами. (Думается, нет нужды всерьез вступать в полемику с психоаналитическими изысканиями Лили Фейлер. Необходимо все же подчеркнуть, что психологический подход в интерпретации литературных текстов не всегда правомерен. «Демоничность», приписываемую личности Цветаевой, следует ясно отграничивать от «демонической» литературной традиции. Есть у Цветаевой и такие стихи: «Целому морю — нужно все небо, / Целому сердцу — нужен весь Бог». В 1919 году она записала в тетради: «Есть рядом с нашей подлой жизнью — другая жизнь: торжественная, нерушимая, непреложная: жизнь Церкви. Те же слова, те же движения, — все, как столетия назад. Вне времени, то есть вне измены. Мы слишком мало об этом помним»)⁸⁴.

О красном свете. Незалого до эмиграции Цветаева написала стихотворение «Памяти Гейне» (1920), где вступила в спор с его «Книгой песен», и отстаивала женскую правоту в любовном поединке. Образ девушки, с которой лирический герой еще встретится на том свете, вырастает в символ устремленного ввысь красного огня:

⁸² Лили Фейлер. Марина Цветаева, Ростов-на-Дону, 1998. Примечательно, что в английском варианте книга Фейлер о Цветаевой называется «Двойной удар небес и ада».

⁸³ М. Цветаева, т. 7, стр. 276.

⁸⁴ М. Цветаева, т. 4, стр. 540.

Бубен в руке!
Дьявол в крови!
Красная юбка
В черных сердцах!

Красною юбкой — в небо пылю!
Честь молодую — ковром подстелешь.
Как с мотыльком тебя делю -
Так с моряками меня поделишь!

Красная юбка? Как бы не так!
Огненный парус — Красный маяк!

Если Гейне пожелал «устрашить» читателя, то, разумеется, достиг цели: чары его новеллы, его «сладостных» речей, подобно песням его Лорелей («Я знаю, волна, свирепея, / Навеки сомкнется над ним, — / И это все Лорелея / Сделала пеньем своим») незаметно «вкрадываются» — у слов Гейне долгое эхо — читатель с нарастающим восторгом погружается в детальные подробности страсти героя новеллы ко всему, что находится за пределами жизни, поданной Гейне со всей убедительной видимостью правды.

Итак, читатель погружается в ту самую «чертовщину», обозначенную когда-то Иваном Карамазовым одной деталью: «с хвостом». У Цветаевой: «чьи-то когти».

Цветаева не просто читатель — она профессиональный литератор, мастер, и «ночные» метафоры Генриха Гейне («Смерть — это тень прохладной ночи» — его слова) могли послужить для нее «упоминательной клавиатурой».

Уже в первом письме Цветаева уподобляет Вишняка, как уже говорилось, волку, который чувствует кончиком морды, а не душой. Волк — это тоже излюбленный образ.

Было дружбой, стало службой./ Бог с тобою, брат мой волк!/ Поддыхает наша дружба: /Я тебе не дар, а долг!... /Удержать — перстом не двину: /Перст — не шест, а лес велик./ Уноси свои седины, /Бог с тобою, брат мой клык!» Эти стихи написаны за два года до встречи с Вишняком, но кажется, будто они обращены к нему, Цветаева говорит о том, что с ним она погружается в темноту, которой нет предела. («Деревня сорока огней...». С Вами я — деревня без единого огня, возможно, большой город, возможно — ничто — «когда-то было». Ничто не обнаружит меня, ибо я потухаю целиком.)... Без света, в засаде наших голосов. Вот почему все такие часы Вашей Жизни Вы будете со мной: присутствующий в отсутствии».

Однажды решив (установив?), что Вишняк «лишен души», она постоянно подчеркивает это: «Я все знаю, Мужчина, я знаю, что Вы поверхностны, беспечны, несерьезны, но Ваша глубоко животная природа затрагивает меня глубже, чем иные души». Интересно, что литературный образ бездушного Вишняка настолько укоренился в семье Цветаевых (вероятно, Цветаева проговаривала эту мысль вслух), что даже десятилетняя Аля записала тогда в своем дневнике: «... В нем мало души, поскольку ему был нужен покой, отдых, сон, комфорт — как раз то, что не нужно душе».

После разрыва с Вишняком Цветаева настаивала на том, чтобы он вернул ей стихи, посвященные ему, письма, книги. Вишняк в конце концов выслал ей рукописи, книги и девять писем, адресованных ему, и написал ей письмо — оно, собственно говоря, было его первым и последним письмом к Цветаевой. Роман был завершен, берлинское наваждение кончилось с тем, чтобы возродиться в творчестве — в прозе — «Флорентинских ночах» и в стихах:

Дабы ты меня не видел -
В жизнь — пронзительной, незримой
Изгородью окружусь.

Жимолостью опояшусь,
Изморозью опушусь.

Дабы ты меня не слушал
В ночь — в премудрости старушьей:
Скрытничестве — укреплюсь.

Шорохами опояшусь,
Шелестами опушусь.

Дабы ты во мне не слишком
Цвел — по зарослям: по книжкам
Заживо запропашу:

Вымыслами опояшу,
Мнимостями опушу.

Вишняк, кажется, прекрасно понимал натуру Цветаевой и всячески пытался уклониться от роли литературного героя — «спящего красавца», навязанной ему. Он «бежал» в свою обычную семейную жизнь от цветаявских «ночных шепотов» и той «демонической» тени, которую она привнесла в их берлинский роман. В единственном ответном письме Вишняка прозвучала фраза, обращенная к ней лично, где он также употребил эпитет «черный», столь часто используемый ею в письмах к нему: «Я помню Вас на балконе, с лицом, поднятым к черному небу, равно неумолимому ко всем». Впрочем, он не оставил ее без своего внимания и проявил свойственную ему проникательность, полюбопытствовав: «Переводите ли «Флорентийские ночи»?

VII

Из «Флорентийских ночей» Цветаевой

*Во мне всегда было нечто чрезмерное для тех,
кто ко мне приближался.*

*М. Цветаева.
Флорентийские ночи*

«Флорентийские ночи» Цветаевой в настоящее время вполне доступны читателю. После 1985 года они в России неоднократно издавались. Хотелось бы, тем не менее, в контексте этой книги привести несколько фрагментов этого произведения. Цитируем ниже отрывки из писем Цветаевой Вишняку, а также, с небольшими сокращениями, единственное ответное письмо Вишняка к Цветаевой, дабы у читателя сложилось собственное суждение и о письмах, и об этой сравнительно малоизвестной берлинской любовной истории.

Письмо второе

19 июня, ночь.

Вы освобождаете во мне мою женскую суть, мое самое темное и наиболее внутреннее существо. Но от

этого я не менее ясновидающа. Вся моя зрячесть обратной стороной имеет — ослепление.

Мой нежный (тот, кто меня делает...) всей моей неразделимой двойственностью, двойной неделимостью, всем моим существом двуострого меча (наделенным этим утешительным единством: ранить только меня самое) я хочу в Вас, в Вас, как в ночь. «Строфы и грезы», а проще: прочесть и уснуть. (Оброненные Вами слова, я помню их все.) Скольким виделись во мне только строфы.

Письмо третье

Когда я только что сидела подле Вас на этой бродяжьей скамейке — больше в отдалении, чем рядом, — моя душа исходила нежностью, мне хотелось поднести Вашу руку к моим губам и держать ее так долго-долго...

Скамья покинутая
Скамья бродяжья...

(Покинутость. Богатство бедности — в одном слове даны две вещи, в одном звуке — два смысла: расширительный, уточняющий).

Но Вы видели, мы расстались... вежливо. (Вот первые ласточки! Наш невозможный час!) Я могу без Вас. Я ни девочка, ни женщина, я обхожусь без кукол и без мужчин. Я могу без всего. Но, может, впервые я хотела этого не мочь.

Возможно, Вы скажете мне: «Мне нечего делать с Вами — такой слабой (слабой, как и все прочие, и гораздо менее красивой)». В таком случае: пусть будет так! Но только пусть между нами не будет одного: обмана. Я хочу, чтобы ты любил меня всю, все, что я есмь, все, что я собой представляю. Это единственный спо-

соб быть любимой или не быть любимой.

[...]

Но знай, мой повелитель на час, что никогда никто тебя...

(не столь, но *так*. Самое-пресамое так, мое так). И даже оставив тебя, уступив тебя, как я уступаю все всем, дорогу любому — я никогда не уйду из твоей жизни.

Рассвет. Я спокойна, словно умерла, и в этой абсолютной ясности неба и головы говорю тебе: «Мне нужны с тобой вся берложесть берлоги и весь простор ночи. Вся ночь снаружи и вся ночь внутри».

Какое убожество земная жизнь. Какая покинутость.

Я прижимаю к губам твою руку. Пиши мне, пиши мне. Я буду спать с твоим письмом. Мне нужно от тебя что-нибудь живое.

Все небо в розовых раковинах. (Если небо — только пляж, то что тогда море?) Наиболее чуткий час. Спи в мире. Первые шаги на улице, идет рабочий. И птицы.

Рассвет июньского дня, суббота.

Письмо пятое

25 июня, воскресенье

Друг! Меня терзают сейчас два искушения: Вы и солнце. Две поверхности: одна песчаная, моего листка, другая каменистая, моего балкона. Обе чистые, обе жесткие, обе усыпляют. Пусть будет песчаная!

Вчера вечером не было света, и я локти себе кусала от желания писать Вам (от ярости, что не могу этого делать). У меня были для Вас, к Вам, слова такие истинные, такие яркие. Это накатывало, накатывало, как поток. Это был самый *мой* час с Вами, который у меня

похитили, украли, вырвали. Я легла на пол и рычала, как собака.

Я поняла одну вещь: с другим у меня было «р», буква, которую я предпочитала, — самая я из всего алфавита, самая мужественная:

мороз, гора, герой, Спарта, зверь — все, что во мне есть прямого, строгого сурового.

С вами: шелест, шепот, шелковый, тишина — и особенно: cheri!

Мой дорогой, я знаю, что это неправильно: с утра любить вместо того, чтобы писать. Но это случается со мной так редко, так *никогда!* Я все время боюсь, что я грежу, что вот сейчас проснусь — и снова гора, герой...

Письмо восьмое

2 июля, ночь.

Дорогой друг! Ваше письмо похоже на Вас (я читала его более осмысленно, чем Вы его написали). Это по-прежнему — линия наименьшего сопротивления.

Ваше письмо мне понравилось: за два дня я перечитала его четырежды.

Я только хотела узнать одну вещь: Вы писали его для меня или для себя?

[...]

Вы любите слова, Вы питаете к ним нежность, Ваша нежность, предназначенная мне, не что иное, как она же, предназначенная им. Не знаю, любите ли Вы глагол, требующий большего, требующий — всего. Но вот в чем я уверена: если Вы меня и любили, то через мои стихи. Другие через меня любили мои стихи. В обоих случаях меня скорее терпели, чем любили. Чтобы быть ясной до конца: во мне всегда было

нечто чрезмерное для тех, кто ко мне приближался: «нечто» читайте: огромная половина, вся безмерная я, или, что тоже: живая я или живое я моих стихов. Никто не догадывался, что это два лика одной и той же силы...

Письмо одиннадцатое, полученное

29 октября 19...

Вы поймите, дорогая, как мне трудно писать вам, я чувствую себя таким виноватым перед вами, виноватым особенно оттого, что мне не хватает воспитанности, как внутренней, так и обиходной, которую вы так цените. Но что мы — против болезни? Смотрите на меня как на больного, который в течение многих месяцев был погружен в состояние охватившей все его существо прострации и полной глухоты и немоты.

Все оставляло меня безразличным, и никакая сила на свете не могла заставить меня сделать то, что я считал обязательным для себя. В час, когда я вам это пишу, все это уже позади, и я вновь чувствую в себе прилив той особой энергии, которая приходит после болезни. Я очень огорчен, что мое молчание вызвало у вас ошибочные предположения. Спящие не ходят на почту. (Заметка на полях: «Зато в ресторан — сколько угодно!») Прошу вас мне верить.

Я возвращаю вам ваши письма, чтобы вы были абсолютно уверены, что у меня их нет. Я оставил себе лишь одно — последнее, то, которое вы передали мне, когда уезжали. Оно дорого мне как знак, что окончен определенный путь: как последний звук удаляющегося голоса. Но если вы все же почувствуете беспокойство

по поводу этого листка в моих руках, скажите мне, и я вам тотчас верну его.

Посылаю вам (заказными):

- 1) два пакета писем
- 2) толстую синюю тетрадь
- 3) стихи 19... года
- 4) стихи 19... года
- 5) две записные книжки
- 6) автографы X.
- 7) Buch der Lieder.

[...]

Если вы мне напишете, я вам незамедлительно отвечу. Я пробудился. У меня не осталось в памяти обстоятельства моей частной жизни. Я помню только общечеловеческое. Я помню вас на балконе, с лицом, поднятым к черному небу, равно неумолимому ко всем.

Что вы пишете нового? Переводите ли «Флорентийские ночи»? Думаете ли вы как-то использовать свои записные книжки? Много ли у вас новых стихов? Пришлите их мне, прошу вас, в память о прошлом⁸⁵.

IX

«Рассвет на рельсах»

*Молодость моя! Моя чужая
Молодость! Мой сапожок непарный!
Воспаленные глаза сужая,
Так листок срывают календарный.*

*М. Цветаева.
Молодость*

Сергей Эфрон приехал в Берлин лишь в середине июня. Цветаева почему-то не получила от него телеграммы, и они с Алей примчались на вокзал, когда он был, по воспоминаниям Ариадны, «бесполезно-гулок, как собор по окончании мессы. Сережин поезд ушел — и ушел давно; и духу не осталось от пассажиров и встречающих»⁸⁶. День был необыкновенно жаркий, и они бродили по белой от солнца, палящей от зноя привокзальной площади в надежде увидеть Сережу. Затем они услышали его голос «Мариночка! Мариночка!» Откуда-то с другого конца площади бежал, маша нам рукой, высокий, худой человек... Сережа уже добежал до нас с искаженным от счастья лицом и

⁸⁵ М. Цветаева, т. 5, стр. 463 - 484.

⁸⁶ Воспоминания о Марине Цветаевой, М., 1992, стр. 204.

обнял Марину, медленно раскрывшую перед ним руки, словно оцепеневшие.

Долго, долго стояли они, намертво обнявшись, и только потом стали медленно вытирать друг другу ладонями щеки, мокрые от слез»⁸⁷.

Через некоторое время семья перебралась в пансион Елизабет Шмидт на Траутенауштрассе 9, одной из пяти улиц-лучей, отходящих от Прагерплатц. Дом на Траутенауштрассе современниками часто назывался «Русским домом в Вильмерсдорфе». А. Эрфрон в своих воспоминаниях называет его просто «Траутенау-хауз». Спустя два года, в 1924 году в «Русском доме» поселился оставшийся в Берлине один Владимир Набоков (После убийства его отца, Владимира Дмитриевича Набокова 28 марта 1922 года в зале Берлинской филармонии, мать с сестрами и братьями уехала в Прагу, где русским эмигрантам выдавали пособие). 6 ноября 1996 года на фасаде «Русского дома», где жила Цветаева, была установлена латунная мемориальная доска с лаконичной надписью на двух языках — русском и немецком. По-русски выгравированы строки: «В этом доме жила Марина Цветаева в 1922 году»⁸⁸. Это первая мемориальная доска русскому поэту в объединенной столице Германии.

Семья Цветаевых-Эфрон поселилась в «Траутенау-хаузе» в двух крохотных комнатах с балконом. А. Эрфрон не указывает, на каком этаже, но по некоторым деталям очевидно, что комнаты находились высоко — вероятно, это был предпоследний, третий этаж. Именно балкон «Русского дома» Цветаева упоминает в письмах к Вишняку. Она признается, что лежала на холодном полу балкона и ждала его, прислушиваясь к шагам на улице. А 30-го июня об этом балконе и о желании выброситься с него вниз было написано стихотворение, которое так и называлось — «Балкон»:

Ах с откровенного отвеса —
Вниз — чтобы в прах и смоль!
Земной любви недовесок
Слезой солить — доколь?

Балкон. Сквозь соляные ливни
Смоль поцелуев злых.
И ненависти неизбывной
Вздых: выдышаться в стих!

Стиснутое в руке комочком —
Что: сердце или рвань
Батистовая? Сим примочкам
Есть имя — Иордань.

Да ибо этот бой с любовью
Дик и жестокосерд.
Дабы с гранитного надбровья
Взрыв — выдышаться в смерть!

На «новоселье» Сергей Эфрон подарил Але горшочек с розовыми бегониями, которые девочка по утрам поливала на балконе, боясь пролить воду на мостовую. «Из данного кусочка жизни в «Траутенау-хауз», — вспоминала она, — ярче всего запомнился пустяк — этот вот ежеутренний взгляд вниз и потом вокруг, на чистенькую и безликую солнечную улицу с ранними неторопливыми прохожими, и вот это ощущение приостановившейся мимолетности, транзитности окружа-

⁸⁷ Там же.

⁸⁸ Доска была установлена по инициативе сотрудницы Свободного университета Берлина Вильке Вабер и на средства, собранные студентами университета имени Гумбольдта и Свободного университета. Сообщение об открытии мемориальной доски М. Цветасовой в Берлине были опубликованы в статье М. Полянской и Т. Черновой «История одной мемориальной доски» в журнале «Зеркало Загадок», Берлин 1997, 6, стр. 33.

ющего и той неподвластности ему, которая и позволяла рассматривать его отвлеченно и независимо, без боли любования и отрицания.

Ощущение это, по-видимому, укреплялось рождавшимися там, в двух комнатках за моей спиной, и постепенно определявшимися родительскими планами на ближайшее будущее, их разговорами, исподволь доносившимися до меня»⁸⁹. Родители обсуждали простой вопрос, оставаться ли дальше в Берлине, где уже ощущалось приближение экономического кризиса, или же отправляться в Чехию, где Эфрон получал студенческую стипендию. В этом доме 25 июня Цветаева посвятила стихи долгожданной встрече с мужем:

Здравствуй! Не стрела, не камень:
Я! — живейшая из жен:
Жизнь. Обеими руками
В твой невыспавший сон.

За время четырехлетней разлуки Цветаева очень изменилась, она, сумевшая выжить в большевистской России, приобрела самостоятельность. А. Эфрон заметила тогда, что отец по-прежнему выглядел мальчиком, тогда как мать «действительно выглядела взрослей — раз и навсегда! До нитей ранней седины, уже мерцавшей в ее волосах».

«Когда я приехал встретить Марину в Берлин, — писал Сергей Эфрон Волошину, — тогда почувствовал сразу, что Марине я дать ничего не смогу»⁹⁰.

В двадцатые годы Цветаева пришла к мысли о том, что «человек задуман один, где двое — там ложь». «Как жить с душой в квартире?» — писала она Пастернаку в 1923 году. Едва соединившись с мужем после четырехлетней разлуки, она в августе 1922 года, через неделю после отъезда из Берлина, напишет стихотворение «Ре-

ка времени» о своей трагической одиночности и невозможности жить вдвоем:

Но тесна вдвоем
Даже радость утр...
Оттолкнувшись лбом
И подавшись внутрь,

(Ибо странник Дух
И идет один),
До начальных глин
Потупляя слух...

Серьезные и неожиданные для Цветаевой политические разногласия с мужем обнаружили с самого начала их встречи в Берлине. Эфрон, оказывается, собирался в будущем вернуться в Россию: «Обратно, Мариночка, можно, только пешком — по шпалам — всю жизнь». Стало быть, именно из этого дома 9 на Траутенауштрассе началось столь долгое возвращение Цветаевой в Россию, и отсюда — цветаевский «Рассвет на рельсах»:

Покамест день не встал
С его страстями отравленными,
Из сырости и шпал
Россию восстанавливаю.

.....
Без низости и лжи:
Даль да две рельсы синие...
Эй, вот она! Держи!
По линиям, по линиям...

⁸⁹ Воспоминания о Марине Цветаевой, стр. 205.

⁹⁰ Марина Цветаева, Неизданное, М., 1999, стр. 307.

Стало быть, здесь, в этом доме — начало конца и краха семьи Цветаевых-Эфрон.

Среди современников Цветаевой сложился миф о ее «политической наивности», что однако абсолютно не следует из ее произведений двадцатых — тридцатых годов. Еще в середине двадцатых она предугадала будущую трагедию Германии и спустя два года, после того, как покинула ее, в 1924 году написала поэму «Крысолов» на основе знаменитой немецкой легенды, повествующей о чрезвычайном происшествии: «уводе» детей из города Гамельна таинственным Крысоловом в 1284 году. В этом предании, мифе (или гриммовской версии немецкой легенды) ей удалось увидеть «архетип надвигающегося фашизма» (выражение И. Маленкович). В поэме Цветаевой Гамельн — это не только «Веймар без Гете», это целое тоталитарное государство со своей системой подавления личности. В таком государстве необходима тотальная унификация мышления: «В Гамельне собственных мыслей нет, только одни чужие».

Исследовательница творчества Цветаевой Инесса Маленкович заметила, что в поэме «Крысолов» Цветаева показала романтический порыв большевиков (крысобольшевиков) — идеалистов, к которым впоследствии отнесла и Сергея Эфрона.

Маленкович пишет: «В конце XX века психологически трудно представить, как обольстительно пела большевистская флейта в 20-е — начале 30-х годов, особенно для тех, кто не жил в России. Ею заслушивались далеко не худшие головы и сердца Европы. Среди последователей Красного Крысолова была не только кембриджская пятерка будущих агентов-«кротов» КГБ во главе с Филби и не один эмигрант С. Я. Эфрон, мучимый чувством вины перед Родиной. Западная левая интеллигенция и среди них такие недюжинные умы,

как Орвелл и Кестлер, тоже долгие годы оставались в плену русского мифа. «Увод» предсказал в символической форме жуткую судьбу мужа Цветаевой, мученическую жизнь их дочери и гибель, физическую и духовную, сотен тысяч доверчивых идеалистов, поверивших Красному Крысолову»⁹¹.

Несмотря на кажущуюся непрактичность и неприспособленность в повседневной жизни, Цветаева оказалась взрослее многих других своих современников. Едва ли можно говорить о политической наивности Цветаевой, написавшей в 1934 году:

А Бог с вами!
Будьте овцами!
Ходите стадами, стаями
Без мечты, без мысли собственной
Вслед Гитлеру или Сталину...

Можно себе представить состояние Цветаевой, когда Эфрон заявил о своем желании вернуться в государство, где «мор на поэтов», где сносят «домики со знаком породы»! Долгожданному воссоединению семьи не суждено было сбыться, однако Эфрон навсегда останется для Цветаевой «долгом».

15 июня 1939 года Цветаева с сыном вслед за мужем из Парижа (Эфрон, вступивший на службу к НКВД, уехал в Москву в 1937 году, за ним вскоре последовала дочь Ариадна) отправилась в Москву. В августе 1939 года была арестована Ариадна (она провела в лагерях и ссылках шестнадцать лет), через полтора месяца — Сергей Эфрон. Он был казнен 16 октября 1941 года. Благодаря хлопотам дочери Ариадны Сергей Эфрон был реабилитирован в 1956 году.

⁹¹ Инесса Маленкович. Судьба старинной легенды, М., 1994.

В начале войны Цветаева с сыном Муром⁹² оказались в городе Елабуге, в маленькой комнате, отгороженной занавесочкой от хозяев. Существует много версий и догадок по поводу ее самоубийства 31 августа 1941 года, но, вероятнее всего, причины его так и останутся тайной. Мур погиб на фронте в 1944 году. Таков трагический конец семьи Цветаевых-Эфрон.

Однако здесь в Берлине до гибели остается 17 лет, и Цветаева делает попытку воссоединить семью, подвести итоги тяжелым испытаниям, которым она подверглась. В стихотворении, написанном в сентябре 1922 года, она говорит о взаимной привязанности людей, связанных общей судьбой:

Золото моих волос
Тихо переходит в седость.
Не жалейте: все сбылось
Все в груди слилось и — спелось

Да и ты посеребрел,
Спутник мой! К громам и дымам,
К молодым сединам дел -
Дум моих причти седины

Спустя две недели после своего прибытия в Берлин Сергей Эфрон уехал в Чехию, так как ему нужно было готовиться к новому учебному году в Карловом университете, и Марина с Алей остались еще на некоторое время в двух комнатках с балконом в «Траутенау-хаузе» с тем, чтобы потом отправиться вслед за ним.

Х

«Оставь Берлин, где воздух густ и пылен...»

*Какое убожество земная жизнь.
Какая покинутость.*

*М. Цветаева.
«Флорентийские ночи».*

Здание бывшего пансиона Элизабет Шмидт — окрашенное в серый цвет пятиэтажное с двумя эркерами и черепичной крышей — было построено в начале века с претензией на «югендстиль», о чем еще напоминают сохранившиеся на лестничных площадках витражи на окнах, и остатки растительного орнамента на стенах внутри подъезда.

Сохранились и глухие заштукатуренные балконы, характерная (и неизбежная) деталь берлинского городского пейзажа — это они напоминали Набокову выдвиг-

⁹² Сын Цветаевой Георгий (Мур) родился 1 февраля 1925 года. В письме к Тесковой 10 февраля Цветаева писала: «Мальчик будет называться Георгий и праздновать свои именины в день георгиевских кавалеров. Георгий — покровитель Москвы и, наравне с Михаилом Архистратигом, верховный вождь войск. (Он же, в народе, покровитель волков и стад. Оцените широту русского народа!)» Письма к Тесковой, стр. 29.

нутые ящики стола, которые забыли задвинуть. Один из этих балконов летом 1922 года принадлежал Цветаевой, и она его в письмах называла «своим».

Дом выходит фасадом на Траутенауштрассе, которую А. Эфрон в мемуарах определила как «чистенькую, безликую и солнечную». Облик улицы с однообразными домами и такими же балконами-ящиками до настоящего времени не изменился — она такая же чистенькая, безлюдная и безлика.

Немногочисленные друзья, появившиеся у Цветаевой в Берлине, вероятно, посещали ее в этом доме. Что же касается Андрея Белого, то его иногда (он несколько раз опаздывал на последний поезд в Цоссен), оставляли здесь ночевать. Цветаева (в «Пленном духе») рассказывает, что в одну из таких «ночевок» Белого, у них остался на ночь и пятилетний сын издателя (судя по всему, это был сын Вишняка). Дети — Аля и «издательский сын» — решили, как водится, напроказить и, пробравшись в комнату Белого, положили ему в постель резиновых зверей, наполненных водой. Наутро Белый вышел к столу радостный, с видом победителя.

«Нашел! Нашел! Обнаружил, ложаюсь, и выбросил — полными. Я на них *не* лег, я только чего-то толстого и холодного... коснулся... какого-то живота. (Шепотом) Это был живот свиньи.

Сын издателя:

— Моя свинья.

— Ваша? И вы ее... любите? Вы в нее... играете? Вы ее ... берете в руки? (Уже осуждающе:) — Вы можете взять ее в руки: холодную, вялую, трясущуюся, или еще хуже: страшную, раздутую? Это называется... играть? Что же вы с ней делаете, когда вы в нее играете?

Ошеломленный «Вы», выкатив чудные карие глаза, явно и спешно *глотает*. Белый, оторвав от него невидящие (свинным видением заполненные) глаза

и скосив их в пол, как Георгий на дракона, со страхом и угрозой:

— Я... не люблю свинью... Я — боюсь свинью!...

Этим ю как перстом или даже копьем упираюсь в свинойрыльный пятак.»

27-го июня 1922 года почтальон принес на Траутенауштрассе 9 письмо от Эренбурга, которое было заметно тяжелее предыдущих. Марина вскрыла его ножом для резки бумаги (он был в виде миниатюрной шпаги — его когда-то подарил ей Эфрон) и вынула оттуда несколько листов бумаги, исписанных незнакомым почерком. Это было письмо от Пастернака, положившее начало новой переписке, длившейся с 1922 года по 1936-й⁹³. Пастернак писал:

Дорогая Марина Ивановна!

Сейчас с дрожью в голосе стал читать брату Ваше — «Знаю, умру на заре! На которой из двух» — и был, как чужим, перебит волною подкатывавше-го к горлу рыдания, наконец прорвавшегося, и когда я перевел свои попытки с этого стихотворения на «Расскажу тебе про великий обман», я был так же точно Вами отброшен, и когда я перенес их на «Версты и версты и версты черствый хлеб», — случилось то же самое.

Вы не ребенок, дорогой, золотой, несравненный мой поэт, и, надеюсь, понимаете, что это в наши дни означает, при обилии даже неопороченных дарований, подобных Маяковскому, Ахматовой.

Простите, простите, простите!

⁹³ Переписка достигла высшей точки, когда к ней, по инициативе Пастернака, присоединился Рильке и образовался эпистолярный «треугольник» поэтов.

*Как могло случиться, что плетясь вместе с Вами следом за гробом Татьяны Федоровны (Скрябиной), я не знал с кем рядом иду?*⁹⁴

Цветаева была настолько оглушена содержанием письма, что не решилась сразу на него ответить, и ответное ее письмо не соответствовало чувствам, которые ее переполняли. Она сдержанно сообщила Пастернаку, что только раз слышала его в Москве с эстрады и что прочла всего лишь несколько его стихотворений.

Пастернак прислал ей сборник стихов «Сестра моя — Жизнь», который произвел на нее такое же впечатление, как и письмо. Она не расставалась с этим сборником даже ложась спать. «Таскаю ее по всем берлинским просторам: классическим Линдам, Магическим Унтергрундам (с ней в руках — никаких крушений!), брала ее в Зоо (познакомиться), беру ее с собой к пансионскому обеду...». Впоследствии она писала Пастернаку: «Тогда было лето, и у и меня был свой балкон в Берлине. Камень, жара, Ваша зеленая книга на коленях (сидела на полу.) — Я тогда десять дней жила ею, — как на высоком гребне волны: поддалась (послушалась) и не захлебнулась».

В очень короткий срок она написала очерк «Световой ливень» о творчестве Пастернака, который Андрей Белый опубликовал в издательстве «Эпопея». Цветаева назвала Пастернака большим поэтом, поэтом, которому принадлежит будущее. Пастернак у Цветаевой наделен светом — «Неиссякаемое истекание светом.... Свет. Вечная мужественность. Свет в пространстве, свет в движении, световые прорези (сквозняки), световые взрывы, — какие-то световые пиршества».

Одним словом, на Цветаеву, словно «громокипящий кубок с неба», пролился «световой ливень». После «вечной» ночи с Вишняком это была награда. В Берли-

не она написала первое, посвященное Пастернаку, стихотворение:

Неподражаемо лжет жизнь:
Сверх ожидания, сверх лжи...
Но по дрожанию всех жил
Можешь узнать: жизнь!

.....
В белую книгу твоих тишизн
В дикую глину твоих «да» —
Тихо склоняю облом лба:
Ибо ладонь — жизнь.

Цветаевой и Пастернаку не довелось встретиться в Берлине — она уехала незадолго до его приезда в Германию.

Похоже, что десять недель, проведенных Цветаевой в Берлине, явились «световым ливнем» и для нее самой. «Неполюбленный Берлин», как называет его А. Эфрон, «непринятый ни глазами, ни душой», в этот «транзитный» период оказался плодотворной «болдинской осенью» для Цветаевой.

Она, как уже говорилось, подготовила к изданию сборники «Психея» и «Ремесло» и второе издание поэмы «Царь-Девница», которые были напечатаны в Берлине в 1922 — 1923 годах. (Напомним, что сборники «Разлука» и «Стихи к Блоку» были опубликованы в Берлине весной 1922 года). В Берлине Цветаевой было написано около тридцати стихотворений, рассказ в эпистолярной форме «Флорентийские ночи», а также эссе «Световой ливень», напечатанное опять же в Берлине летом 1922 года.

«Неполюбленному» городу Цветаева посвятила стихотворение «Берлину»:

⁹⁴ Цитируется по Воспоминаниям о Марине Цветаевой, стр. 210-211.

Дождь убаюкивает боль.
Под ливни опускающихся ставень.
Сплю. Вдрагивающих асфальтов вдоль
Копыта — как рукоплесканье.

Поздравствовалося — и слилось
В оставленности златозарной,
Над сказочными из сирот
Вы смилостивились, казармы.

Берлинский дождь, казалось, убаюкивал боль пережитых лишений, однако город-казарма предоставил приют «сказочным сиротам». «В капитальности зданий, традиционном уюте кафе, разумности планировки, во всей (внешней) отлаженности и добротности города Марина учуяла одно: казармы», — писала А. Эфрон. Но «спасибо казармам, когда, не снизойдя до того, чтобы заметить тебя, они тем самым предоставляют тебе возможность пройти мимо»⁹⁵.

Июльскими вечерами Марина возвращалась домой на Траутенауштрассе в своем «берлинском» синем платье — образ записанный в «Пленном духе»: «Мне так хочется завидеть вас издали синей точкой на белом шоссе — так хорошо, что вы носите синее, какая в этом благодать! — сначала точкой синей, потом тенью синей, такой же синей, как ваша собственная... Знаете, синяя тень, наполненная небесной лазурью».

Подъезд, украшенный зеркалами венецианского стекла, подъем по деревянной крутой лестнице с резными перилами. Белый берлинский свет, уже тускнеющий, наполняется цветами — оживают орнаменты витражей на окнах лестничных площадок. На стекле, отделяющем «флорентийскую ночь» от берлинского дня, становятся зрими-ми обнаженная купальщица, и бирюзовая ваза с золотыми цветами, и фантастические львы, и диковинные растения.

Может быть, жизненный путь поэта и есть нескончаемый подъем по лестнице витражей, когда театр цветных романтических полутеней — гетевские, геллерлиновские, клейстовские образы — завораживающие «schwankende Gestalten» — вытесняют явь. Последней ступеньки «не будет никогда». «Из этой музыки», из этой игры теней «обернувшейся Лирикой» «мы уже никогда не выплыли — на свет дня!»⁹⁶

Цветаева любила граненные стекла и часами рассматривала их:

В зеленой башне все было странно,
Глядели окна так многогранно,
Как будто взоры миллиона глаз...⁹⁷

Чувство покинутости в земной жизни, которую она в одном из писем Вишняку назвала «убогой», останется с ней навсегда в силу того самого «душевного строя поэта», который, по словам Мандельштама, ведет к катастрофе.

Однако одна из самых любимых милых теней — Генрих Гейне — по-прежнему зовет в свой романтический мир, дабы вырвать из удушливой обстановки города с его густым воздухом, клубящимися дымами фабричных труб и трамвайными звонками. Марина, по ее собственному признанию, не любит дневную суету, не любит города («городов мне знать не дано»), боится городского транспорта, особенно автомобилей. «И ходьба куда-нибудь на край света (который обожаю!), под дождем (который обожаю!) для меня поэзия»⁹⁸.

⁹⁵ Воспоминания о Марине Цветасвой, стр. 208.

⁹⁶ М. Цветаева, т. 5, стр. 20.

⁹⁷ М. Цветаева, т. 7, стр. 734.

⁹⁸ М. Цветаева, т. 7, стр. 9.

В 1823 году студент Берлинского университета Генрих Гейне снимал маленькую комнату с красными шелковыми гардинами «rotseidenen Gardinnen» на Беренштрассе 71, был влюблен в пятидесятилетнюю хозяйку литературного салона Рахель Варнхаген, которую называл «фрау Универсум» и собирался носить на шее собачий ошейник с надписью «Я принадлежу фрау Варнхаген». Здесь он издал «Книгу песен», но без сожаления покинул город своих первых творческих успехов, город ясных перспектив, город объясненный, расколдованный Гегелем — таков удел романтика — он стремится в «новые миры».

Гейне обещает странствия, туда, в мир не ведающий «кантовского категорического императива», где сохранились еще «белые пятна» романтической свободы:

«Оставь Берлин, где воздух густ и пылен
И жидок чай: где над умом людским
Один лишь Гегель царствует, всемогущ,
И жизни смысл для всех указан им.

Умчимся в край, где аромат обилен,
В край солнечный, который мной любим.
Там льется Ганг, и вдоль его извилин
Идет в одежде белый пилигрим»⁹⁹.

⁹⁹ Перевод О. Чюминой. Гейне цитируется по изданию: Генрих Гейне, Избранные сочинения, М., 1989.



*Trautenaustraße 9.
В этом доме жила
Марина Цветаева*



Дочери Марины Цветаевой Ариадна и Ирина. 1918—1919 гг.

Содержание

Предисловие Фридриха Горенштейна	1
--	---

Часть I «Бессонные русские»

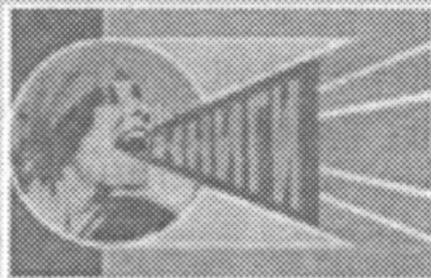
I Пражская площадь	6
II «Я повествую о своем сиротстве...»	9
III «Германия — моя любовь»	13
IV Сергей Эфрон	18
V «Бессонные русские»	25
VI Берлинские кафе	33
VII «Берлинский Белый»	39
VIII Алексей Толстой в Берлине	47
IX «Золотое сердце Эренбурга»	60

Часть II «Флорентийские ночи»

I «Поступь легкая моя...»	68
II Геликон	71
III «Поэзия собственных имен»	79
IV Любовь к Генриху Гейне	85
V «Флорентийские ночи» Гейне	90
VI «Ночные шепота»	95
VII Из «Флорентийских ночей» Цветаевой	101
VIII «Рассвет на рельсах»	107
IX «Оставь Берлин, где воздух густ и пылен...»	115

GELIKON ГЕЛИКОН

КНИГА-ПОЧТОЙ • BÜCHERVERSAND



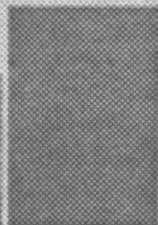
Gelikon GmbH
Kantstrasse 84
10627 Berlin

Tel.: (030) 323 48 15
Fax: (030) 3209 713 67

e-Mail: gelikon@okav.net
<http://www.gelikon.de>

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР

книг, CD, видео-
и аудиокассет
на русском языке
за пределами
России



САМОЕ БОЛЬШОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

an Büchern, CD, Videos und MC
in russischer Sprache

außerhalb Rußlands

Полянская М.
П 54 «Брак мой тайный...» Марина Цветаева в Берлине. —
М.: Вече: Издательский центр Геликон, 2001. — 128 с.
ISBN 5-7838-1028-2

МИНА ПОЛЯНСКАЯ
«БРАК МОЙ ТАЙНЫЙ...»
МАРИНА ЦВЕТАЕВА В БЕРЛИНЕ

Генеральный директор *Л. Л. Палько*
Ответственный за выпуск *В. П. Еленский*
Главный редактор *С. Н. Дмитриев*
Верстка *Г. Н. Фадеев*
Разработка и подготовка к печати
художественного оформления — «Вече-графика»
О. Г. Фирсов

Налоговая льгота — общероссийский классификатор продукции
ОК-00-93, том 2; 953000 — книги, брошюры
Гигиенический сертификат № 77.99.2.953.П.16227.11.00
от 29.11.2000 г.

129348 Москва, ул. Красной сосны, 24.
ООО «Издательство «Вече 2000» ИД № 01802 (код 221)
от 17.05.2000 г.

ЗАО «Издательство «Вече» ИД № 05134 (код 221) от 22.06.2001 г.
ЗАО «Вече» ЛР № 040410 от 16.12.1997 г.

E-mail: veche@veche.ru
<http://www.veche.ru>

Подписано в печать 1.08.2001 г.
Формат издания 70х90/32. Печать офсетная.
Печ. л. 4,0. Тираж 2000 экз. Заказ № 2105.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в РГУП «Чебоксарская типография № 1».
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15.

Мина Полянская — историк литературы, известна читателям как автор книги «Музы города» (Берлин, Support Edition, 2000), написанной в традиции, восходящей к Н.П.Анциферову, автору книг «Душа Петербурга» (1922), «Петербург Достоевского» (1923), «Быль и миф Петербурга» (1924).

Полянская — один из авторов книги «Одним дыханием с Ленинградом...» (Лениздат, 1989) о литературном Петербурге-Ленинграде двадцатого века, а также книги эссе «Классическое вино» (Санкт-Петербург, «АрСИС», 1994).

В 1995 году Полянская стала одним из основателей культурно-политического журнала «Зеркало загадок» (Берлин), литературным редактором которого остается и по сей день.

Новая книга «Брак мой тайный...» — о кратком пребывании Марины Цветаевой в Берлине, которое оказалось интенсивным в творчестве и значимым в личной жизни. История любви к редактору берлинского издательства «Геликон» А.Г. Вишняку легла в основу цикла стихотворений «Земные приметы» и рассказа Цветаевой «Флорентийские ночи», написанного под влиянием одноименной новеллы Гейне. Книга рассказывает также о «берлинском» периоде Андрея Белого, Алексея Толстого, Ильи Эренбурга, передает атмосферу «русского Берлина» 20-х годов.